

Т. Н. Резвых

СЕРГЕЙ ДУРЫЛИН ОБ ЭСТЕТИКЕ К. Н. ЛЕОНТЬЕВА

Публикуемый текст С. Н. Дурылина посвящен анализу специфики эстетики К. Н. Леонтьева. В 1920-е гг. Дурылин оказался единственным, кто не побоялся публично выступать с работами о творчестве консервативного православного философа. Однако работа имеет не только историческое, но и исследовательское значение. В ней эстетическая модель рассматривается в контексте важнейших смысловых линий леонтьевского творчества: религиозный опыт, триединый закон развития, историософия, понятие формы, проблема зла, политическая модель, отношение к социализму. Центральной же идеей текста является понимание эстетики Леонтьева как эстетики жизни. В качестве исследователя Дурылин выступал преемником идей В. В. Розанова и прот. Иосифа Фуделя.

Ключевые слова: К. Н. Леонтьев, С. Н. Дурылин, эстетика, форма, красота, природа, жизнь, мораль, зло, культура, цивилизация.

Доклад С. Н. Дурылина «Эстетическое мировоззрение Леонтьева» был прочитан 24 февраля 1927 г. на философском отделении ГАХН (1921–1930). Внимательный читатель, собиратель архивных материалов, корреспондент и друг современников, лично знавших самого Леонтьева (прот. И. Фудель, М. В. Леонтьева¹), Дурылин стремился говорить о Леонтьеве во всех институциях, в которых принимал участие: Московское религиозно-философское общество, Братство святителей Московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа (Чудов монастырь), Вольная академия духовной культуры. Дурылина, безусловно, можно считать одним из немногих мыслителей Серебряного века, не только изучавшим философские

Татьяна Николаевна Резвых — кандидат философских наук, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, научный сотрудник Мемориального дома-музея С. Н. Дурылина (hamster-70@mail.ru).

¹ Леонтьева Мария Владимировна (1847–1927) — племянница К. Н. Леонтьева, дочь его брата; с 1877 г. — домашняя учительница в г. Сапожок Рязанской губернии, с 1882 г. жила в Орле, где сначала работала учительницей, а с 1890 г. — начальницей Свято-Ольгинской школы при Орловском Свято-Введенском женском монастыре. В своем завещании К. Н. Леонтьев все распоряжение своими сочинениями отдавал ей (*Леонтьев К. Н. Духовное завещание Константина Леонтьева // Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем: в 12 т. СПб., 2004. Т. 6 (2). С. 36* (Далее ссылка на Полное собрание сочинений и писем К. Н. Леонтьева в 12 т. дается сокращенно: *Леонтьев.*, с указанием тома и страницы)). Корреспондент Дурылина.

и литературные произведения Леонтьева, но стремившимся буквально пропагандировать его наследие и идеи (его предшественниками были прот. Иосиф Фудель, «единственный хранитель тайны жизни, личности, творчества и веры Кон<стантина> Н<иколаевича> Леонтьева»², и В. В. Розанов, включивший Леонтьева в свой проект «Литературные изгнанники»³).

Читая работы Дурылина о Леонтьеве, следует помнить, что, несмотря на наличие девяти томов собрания сочинений, изданного о. Иосифом, Леонтьев все еще оставался автором не только неизученным, но и непринятым, за небольшими исключениями, ни своими современниками, ни деятелями культуры Серебряного века. Современники-консерваторы его понимали плохо: «Консерваторы — его враги не менее либералов: ибо если 2-ые, в расчете, что мир будет еще стоять миллион лет, все планируют его переустройство, то 1-ые, тоже в расчете на миллион лет, хотят крикнуть: „Остановись, каков как есть“. История спящей красавицы — консерватизм: застигло тебя консервативное „остановись“ с разинутым ртом или „в ватере“ — так и „останавливайся“ на 1000000 лет. А Л<еонтьев> в миру кричит: „Остановись на прекрасном“, не только „остановись“, а непременно „на прекрасном, если — прекрасен“. А если — в ватере или застигнут с разин<утым> ртом, то вернись назад, когда был не в ватере, а в Церкви, или закрой сперва рот, а потом уже „остановись“»⁴. Социально-политическая модель Леонтьева не вписывалась ни в рамки славянофильства, ни в границы общепринятой консервативно-охранительной модели, философская позиция была диаметрально противоположна платонической традиции, которой была привержена русская мысль как XIX, так и XX в., его критика «розового христианства» была неприемлема для русских философов, поклонников Ф. М. Достоевского, полемика с Вл. Соловьевым также не могла не отталкивать участников Московского религиозно-философского общества. Неудивительно, что Дурылин, начиная со своего доклада «Писатель-послушник», сделанного в этом

² Дурылин С. Н. Отец Иосиф Фудель (мои памятки и думы о нем и о том, что было ему близко» // Сайт «Русская Idea». URL: <http://politconservatism.ru/upload/iblock/dbb/dbb508257bb36c8548ef16190c498bc0.pdf> (дата обращения: 21.01.2016).

³ Резвых Т. Н. «Я чувствовал себя как бы его внуком — через сына — через о. Иосифа» (Отец Сергей Дурылин — исследователь творчества К. Н. Леонтьева) // Христианство и русская литература. СПб., 2012. Сб. 7. С. 326–338.

⁴ Дурылин С. Н. Заметки о Леонтьеве и для Леонтьева // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 285. Л. 17.

обществе 13 ноября 1916 г., так часто цитировал слова В. В. Розанова: «Увы, все сочинения Леонтьева похожи на страстное письмо, с неверно написанным на конверте адресом. Он оттого и прошел мимо публики, мимо читателя, что „Дульцинея“ этого героя Ламанчского просто не слушала его „изъяснений в любви“; а кто его мог бы выслушать и любить, тому он сам не сказал ни слова привета»⁵. Дурылин продолжал: «Л<еонтьев>в писатель без читателя. Он не оказался „своим“ ни у кого: ни у славянофилов, ни у западников, ни у монархистов, ни у интеллигентов. Писатель без места в литературе, в обществе, в жизни. (Исполнилось двадцать пять лет со дня кончины Л<еонтьева>, и больше полувека со дня появления первых его произведений). Если судить по следам, оставленным Л<еонтьевым> в русской литературе, критике, публицистике, русском сознании, в обществе, — то, окажется, Л<еонтьев> как будто и не жил вовсе. Поистине, „письмо с неверно написанным адресом“. Но и все, что говорится и пишется обычно о Л<еонтьеве>, тоже пишется по „неверно написанному адресу“»⁶. Именно этим пафосом объясняется обилие цитат из Леонтьева в дурылинских текстах: он хотел, чтобы русская интеллигенция-«Дульцинея» услышала своего Дон-Кихота. Однако и сами дурылинские доклады оказались таким письмом, «с неверно написанным на конверте адресом» — его выступления вызывали неизменную критику слушателей, ни один из докладов не был опубликован при жизни автора, за исключением того, что ему удалось выпустить в свет, снабдив большими комментариями, воспоминания Леонтьева «Моя литературная судьба»⁷.

Возможно, что Леонтьев, боявшийся Бога, подобно простому крестьянину, оказался для Дурылина фигурой, соединявшей особого рода «народничество» (которым был обуян молодой Дурылин), и «оптинское» христианство. Во всяком случае, чтение Леонтьева (собрание его сочинений вышло в 1912 г.) почти совпадает по времени с тем поворотом, что произошел с Дурылиным в начале 1910-х гг. Так, в 1910–1911 гг. Дурылин еще принимал участие в газете «голгофских христиан»

⁵ Розанов В. В. Примечания // В. В. Розанов и К. Н. Леонтьев. Материалы неизданной книги «Литературные изгнанники». Переписка. Неопубликованные тексты. Статьи о К. Н. Леонтьеве. Комментарии / Сост. Е. В. Ивановой. СПб., 2014. С. 151; далее сокращенно: *Литературные изгнанники*.

⁶ Дурылин С. Н. Писатель-послушник // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 1.

⁷ Леонтьев К. Н. Моя литературная судьба / Публ. и примеч. С. Н. Дурылина // Литературное наследство. 1935. № 22–24. С. 427–497.

(И. П. Брихничев, В. П. Свенцицкий, еп. Михаил (Семенов)) «Новая земля» (1910–1912), проповедовавшей идеи социального христианства Ф. Ламенне и ставившей задачу пробудить народ к религиозному обновлению. Это было симптоматичное для того времени стремление обрести «подлинное», а не «историческое» христианство, «живую» Церковь, а не «ведомство православного исповедания», граничащее с сектантством и обновленчеством. Однако это, близкое к толстовству, христианство, недолго удовлетворяло Дурылина, который, постепенно отходя от социал-демократических увлечений, в годы своего участия в газете уже переживал настоящий мировоззренческий кризис. Осознание тупика отчетливо видно в письмах С. Н. Дурылина этого времени. Так, Татьяне Буткевич⁸ он писал 27 июля 1910 г.: «Все мы, русские мальчики, поверив чуду, ждали, что вот оно над нами первыми совершится, первые мы увидим Пречистый Лик, любовь наша и творчество наше приведут чудом к тому, что нам засветит вожденный голубой взор, — и, засветив, навсегда освятит нас, и тех, кто любим нами, и наше, — может быть, главное всего „наше“, ибо правда ведь, что „полюби не нас, но наше..“ И вот мы наказаны за это — все, от талантливых, гениальных, просвещенных до самых простых, темных, немудрых, от Белого и Блока, до Северного и Воли⁹... Увидеть первый зачаток восхода, первую погасшую пред солнцем звезду заметить, и уже ждать, уже требовать почти, уже кричать с радостью, что солнце нам всходит, — вот наш грех, вот наша кара: солнце для нас не взошло»¹⁰. С другом Дурылин делился: «Ты пишешь о „переоценке ценностей“ и почве, которой нет под ногами. Мэн, но я стал молчаливей прежнего и редко видел тебя зимой, а то бы ты понял, что я сам в этом отношении — ты, и я ждал, что ты должен, не можешь не впасть в руки обесценивающие и вновь восстанавливающие ценности. Я в сфере религиозных метаний, ты — философических блужданий. Да что — философических, религиозных! Просто —

Что́ мы знаем? Что́ мы можем?

Ах, все несомненное обмануло, все, быть может, истинно, прекрасно, справедливо, но не для нас истинно, прекрасно, справедливо, — всё

⁸ Буткевич Татьяна Андреевна (1891–1983) — друг и многолетний корреспондент С. Н. Дурылина.

⁹ Разевиг Всеволод Владимирович (1887–1924) — один из ближайших друзей Дурылина, философ по специальности, впоследствии гимназический учитель.

¹⁰ НИОР РГБ. Ф. 599. Карт. 4. Ед. хр. 36. Л. 5–5 об.

хорошо, нужно блаженно вне нас. Мы — без участия во всем, наши жребии не попали туда, где жребии других.

Я знаю, что бесполезны жалобы, не нужно противление:
К чему противиться природе и судьбе?
Но еще нет в душе покоя
И неузвимости — той тишины,

которая верна себе и потому безнадежно невозмутима»¹¹. В 1912 г. Дурылин стал членом Московского религиозно-философского общества памяти Соловьева, в 1914 г. познакомился с о. Иосифом и затеял переписку с В. В. Розановым. Выход из кризиса произошел после поездки в Оптину пустынь (май 1913 г.), в которую Дурылина привело чтение брошюры Леонтьева «Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни»¹².

Дурылинские тексты о Леонтьеве вращаются вокруг трех главных тем: религиозный опыт, эстетика и историософия. Причем, если более ранние работы «Церковь, монастырь и старчество в личности и жизни К. Леонтьева» (ноябрь 1916 г.), «Писатель-послушник», «Апокалипсис и Россия» (апрель 1918 г.), «Религиозный путь К. Леонтьева» (написан весной-летом 1921 г. прочитан 2 февраля 1922 г.) были по преимуществу посвящены религиозному опыту и историософии, то последние по времени доклады — «Леонтьев-художник. Заметки. „Подлипки“» (май 1924 г.), «К. Леонтьев как романист и критик Льва Толстого» (декабрь 1926 г.) — касались эстетики и литературного творчества. Главная идея ранних работ — показать, что как понимание религии, так и историософия Леонтьева были диаметрально противоположны всей соловьевской линии в русской философии. Дурылин вслед за о. Иосифом не уставал повторять, что христианство для Леонтьева — путь к *личному* спасению, в противовес соловьевской «христианской политике», ориентированной на спасение всего человечества. В своих заметках, сделанных по поводу возражений на его доклад «Религиозный путь К. Леонтьева», Дурылин писал: «Православие и учит спасению души. Афон и Оптина радеют не о спасении „Греции“ или „России“, а отдельных греческих и русских

¹¹ Дурылин С. Н. Письмо В. В. Разевику. 5 июля 1912 // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 371. Л. 20 об. — 21 об.

¹² Дурылин С. Н. Отец Иосиф Фудель (мои памятки и думы о нем и о том, что было ему близко» // Сайт «Русская Idea». URL: <http://politconservatism.ru/upload/iblock/dbb/dbb508257bb36c8548ef16190c498bc0.pdf> (дата обращения: 21.01.2016).

людей, к ним прибегающих. Все Отцовское слово о спасении обращено к человеку, а не к человечеству, к душе человека, а не к душе народа (чего так хотелось бы софийным радетелям „душ“ — мира, народа и пр.

У Л<еонтье>ва нет гордой мечты: „я сказал то-то и изрек то-то — и этим я спасаю Россию->“. У него нет гордыни мировых планов спасения — он лично погибал — и знает, что лично погибают и лично спасаются.

Это и мысль отцов, это и Евангелие: ради одной овцы оставляются все овцы, „стадо“. Не о спасении „стада“, а о спасении „овцы“¹³. Позже эту мысль повторил священник Кирилл Зайцев: «Ограничить себя рассмотрением буквального смысла отдельных леонтьевских афоризмов, исполненных боли и гнева или отражающих отдельные уклоны его многогранно-грешной гениальной натуры, — значит игнорировать внутренне значение писаний Леонтьева как некоего литературного комментария к личному подвигу церковно-попкорного „делания души“, составившего подлинное содержание всей жизнедеятельности Леонтьева начиная с момента его „прозрения“»¹⁴.

Леонтьев отвергал соловьевский универсализм в понимании человека, растворение отдельного человека в человечестве, а человечества в Абсолюте, он возвращался к ортодоксальной христианской традиции рассмотрения тварного мира как последовательности двух эонов — земного, грешного, временного, и вечного, который наступит после воскресения мертвых и Страшного суда. Дурылин увидел у Леонтьева бунт против историзации Абсолюта, унаследованной Соловьевым от немецкого идеализма, увидел стремление видеть в истории начало и конец, отделяя ее от внутрибожественной жизни, стремление понять творение Бога именно как творение, обладающее относительной независимостью.

Дурылин, отдавший в свое время должное и оригенизму (рассказ «Жалостник» 1915 г.), и софиологии («Церковь невидимого града», 1914 г.), в 1921 г. страстно полемизирует с соловьевской линией русской философии: «Живи он (К. Н. Леонтьев. — Т. Р.) теперь, — он также, — убежденно верю, — не вышел бы из-за своих монастырских стен ни для гностико-оптимистического „софианства“ — чтобы не произносить нестерпимого для меня слова „софийность“, — Флоренского, Булгакова,

¹³ Дурылин С. Н. Заметки о Леонтьеве и для Леонтьева // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 285. Л. 3.

¹⁴ Зайцев Кирилл, свящ. Любовь и страх (Памяти Константина Леонтьева) // Константин Леонтьев: pro et contra. Антология: в 2 т. СПб., 1995. Кн. 2. С. 202.

кн. Евг. Трубецкого, ни для увлекательной антроподицеи Бердяева, ни для христианизированного дионизизма Вяч. Иванова. Для Леонтьева все они были бы духовными внуками Достоевского и детьми Влад. Соловьева, — о каждом из них, — о насыщенном тончайшей гностикой и глубочайшим платонизмом православии Флоренского, — и о последующем ему „софийном“ православии Булгакова, — и о новой редакции старого Соловьева, данной Трубецким, — и о Бердяеве, и об Вяч. Иванове, и обо всех, больших и малых исповедниках „нового религиозного сознания“, — он повторил бы то же, что сказал о Соловьеве: „В этих благородных, симпатичных, обворожительных философах русских неизвестно еще, какой дух обитает. Не всякому духу верьте!“¹⁵. Более того, Дурылин противопоставлял духовный путь Леонтьева исканиям большей части русской интеллигенции, в том числе и той, что вошла в Церковь: «С принятием Л<еонтьев>а перемещается полюс русской культуры, изменяется ось вращения. Все чужое для рус<ской> интеллигенции от Радищева до наших дней — ему близко: монастырь, Церковь, авторитет, Филарет, ад, страх Божий, оправдание сущ<ествующего> порядка и проч., и проч., — все им милое, — им, в широком смысле слова, и Радищеву, и Вл. Соловьеву, и Чернышевскому, и Флоренскому, — ему чуждо — и враждебно»¹⁶. «Л<еонтьев> погладил рус<скую> интеллигенцию> против шерсти»¹⁷.

В аннотации публикуемого доклада А. А. Сидоров¹⁸ утверждал, что автор, «частично опиравшийся на неизданный материал (письма к Фету и др.), пытался реконструировать основные эстетические

¹⁵ Дурылин С. Н. Религиозный путь К. Леонтьева // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 160. Л. 55.

¹⁶ Дурылин С. Н. Заметки о Леонтьеве и для Леонтьева // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 285. Л. 16.

¹⁷ Там же. Л. 18.

¹⁸ Сидоров Алексей Алексеевич (1891–1978) — поэт, искусствовед, библиофил и коллекционер. Познакомился и подружился с Дурылиным в «Ритмическом кружке» и «Кружке по изучению французского символизма» в «Молодом Мусагет» (1910–1913), существовавшем при книгоиздательстве «Мусагет». Дурылин часто ездил на летний отдых в его имение Николаевка (Сумская обл., Украина). Был женат на близкой приятельнице Дурылина Татьяне Буткевич, затем развелся. Впоследствии отношения Дурылина и Сидорова также прекратились. Участник Антропософского общества, в 1920-е гг. сотрудничал в ГАХН. Автор целого ряда книг о книгоиздательстве, книжном деле и оформлении книг. См.: Дурылин С. Бодлэр в русском символизме / Публ. и коммент. Г. В. Нефедьева // Книгоиздательство «Мусагет». История. Мифы. Результаты. Исследования и материалы. М., 2014. С. 261–327.

воззрения К. Леонтьева, исходя из мысли, что эстетический опыт Леонтьева автономен и не включает перехода к прочим сторонам его мировоззрения. До последних лет жизни эстетические воззрения Леонтьева остаются неизменными, тогда как в других областях происходят значительные сдвиги. Прения остановились на типологическом и историческом родстве Леонтьева с рядом эстетических школ и направлений (немецкий романтизм, декадентство)¹⁹. Но, несмотря на то, что прения (в которых принимали участие А. Ф. Лосев и П. С. Попов) завели обсуждающих в сугубо историческую дискуссию, поиски предшественников и параллелей, задачей Дурылина было, во-первых, объяснить и оправдать *саму* леонтьевскую эстетику, а, во-вторых, показать существо взаимоотношений между эстетическим и религиозным опытом, бывшее камнем преткновения уже для Соловьева, видевшего здесь «раздвоение между простою субъективной религиозностью и объективным культурным идеалом смешанного характера»²⁰. Соловьеву вторил С. Н. Булгаков: «Он ощутил себя выброшенным из культуры, хотя и оставался насквозь ею пронзенным»²¹. Эстетика Леонтьева своими противоречиями и притягивала, и пугала его современников, Дурылин, в своем исследовании идя по следам своего старшего друга, о. Иосифа Фуделя²², стремился показать ее как целостную и органичную. Он пришел к выводу, что главными проблемами *внутреннего опыта* у Леонтьева являются проблемы *религиозного опыта* и *эстетического опыта*. Центральная мысль доклада — эстетика Леонтьева есть эстетика жизни — адекватна самопонижанию Леонтьева, писавшего: «Эстетика жизни (не искусства!.. Черт его возьми, искусство — без **жизни!**..), поэзия *действительности* невозможна без того *разнообразия — положений и чувств*, которое развивается благодаря неравенству и борьбе»²³. По признанию самого Леонтьева, она сыграла роль в генезисе его политических взглядов: «*Эстетика спасла во мне гражданственность <...>. Я стал любить монархию, полюбил войска и военных, стал и жалеть и любить дворянство...*»²⁴.

¹⁹ Бюллетени ГАХН. 8–9 / Под ред. А. А. Сидорова. М., 1927/28. С. 21.

²⁰ Соловьев В. С. Памяти К. Н. Леонтьева // К. Н. Леонтьев: pro et contra... СПб., 1995. Кн. 1. С. 24.

²¹ Булгаков С. Н. Победитель — побежденный (судьба К. Н. Леонтьева) // Там же. С. 392.

²² Фудель И., свящ. Культурный идеал К. Н. Леонтьева // «Преемство от отцов». Константин Леонтьев и Иосиф Фудель. Переписка. Статьи. Воспоминания. СПб., 2012. С. 362–372.

²³ Леонтьев К. Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой // Леонтьев. Т. 8 (1). С. 299.

²⁴ Там же.

Вероятно, именно эта эстетика жизни подвела Леонтьева к ожиданию новой мистической религии²⁵ и к предвосхищению идей «философии культа» о. П. Флоренского, о чем Леонтьев писал о. Иосифу Фуделю: «Вы делаете мне два вопроса. 1-й: почему я говорю, что Христианское учение есть учение *прежде всего* мистико-материалистическое, а *потом* уже моральное. — Потому, во-1-х, что христианин *прежде всего* отличается от людей других исповеданий *догматической* стороной вышеуказанного характера (Троица единосущная — таинство, рождение *во плоти* от девы *реальной, земной*. — Вообще — *воплощение*, страдание, *обыкновенная* смерть; воскресение в новой *плоти*; вода, хлеб, вино, мощи, обряды, все 7 таинств полу-божественны, полу-вещественны: *елей*, болезнь, *возложение рук* — священство; *венчание* как освящение простого *телесного* процесса; исповедь: *один человек* — *говорит* другому человеку, тот *покрывает* его *эпитрахилью* и т.д. Наконец — воскресение *тел* и *вечная жизнь* этих *тел* — после второго пришествия. — И страдания грешных и блаженство праведных будут и *телесные*, хотя иного вида, чем известные нам)»²⁶. Позже на эту тему Леонтьев писал и Розанову: «я с *метафизической* точки зрения позволяю себе называть *материалистическим спиритуализмом* [например, Христос — вполне *Бог*, но и вполне *человек*, за исключением *греха*: т.е. *воплощение*; наше воскресение *плоти* после общего суда; *все таинства*: вода (крещ.), миро (миропом.), вино и хлеб (причащ.), елей (елеосв.), брачное соединение *плоти* (брак), **руко-**положение (священство), *человеческая* беседа (исповедь), *поклоны*, *крест*, *просвирка*, *икона*, даже и чудотворные *мощи*, *свечи*, *лампады* и т.д. Разве все это не *вещество*, *мистически одухотворенное*? Та мистика и не настоящая, которая не нашла себе матерьяльных форм!]²⁷. Это понимание воплощенности православной веры, фундаментальности культа было для Леонтьева «филаретовским православием», в противовес «общеевангельскому», «с верой в икону Иверской Божией Матери, в мощи Св. Сергия, в проповеди Тихона Задонского и Филарета, — даже и в духовный его авторитет по государственным вопросам, — в прозорливость и святую жизнь некоторых и ныне живущих монахов...»²⁸. Следовательно, эстетику у Леонтьева невозможно отделить от религиозного опыта и религиозного культа. Предвосхищая Флоренского, он говорил, что церковные

²⁵ Леонтьев К. Н. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения // Леонтьев. Т. 8 (1). С. 191.

²⁶ Леонтьев К. Н. Письмо И. И. Фуделю. 22 апреля 1888 // «Преемство от отцов». С. 68–69.

²⁷ Леонтьев К. Н. Письмо В. В. Розанову. 27 мая 1891 // Литературные изгнанники. С. 99.

²⁸ Леонтьев К. Н. О всемирной любви // Леонтьев. Т. 9. С. 207.

молитвы должны быть непонятны: «В славянских псалмах для большинства много непонятого и даже сбивчивого, если начать вникать в смысл каждого слова. Но молитва на этом полутаинственном и величавом языке гораздо отраднее, чем молитва на русском»²⁹. Эстетика жизни и мистика соединялись у Леонтьева в единое целое.

Деятельность Дурылина в ГАХН относится ко времени между двумя арестами. После досрочного освобождения из первой ссылки, в конце 1924 г., Дурылин вернулся из Челябинска в Москву, и в начале 1925 г. стал научным сотрудником социологической секции. А. И. Резниченко приводит сведения о 21 докладе, сделанном Дурылиным в этой крупнейшей гуманитарной институции периода нэпа³⁰. Первый доклад в ГАХН о Леонтьеве был прочитан в декабре 1925 г. в комиссии по изучению Достоевского («К. Леонтьев и Лесков о Достоевском»), второй — в декабре 1926 г., в секции литературы («К. Леонтьев как романист и критик Льва Толстого»), доклад об эстетике был третьим. Это было последнее публичное его выступление о К. Н. Леонтьеве. 10 июня 1927 г. Дурылин был вновь арестован в связи с арестами участников семинаров Г. А. Лемана³¹ и, по постановлению Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 24 апреля 1928 г., выслан в Томск³². В постановлении о предъявлении обвинения фигурировало, что лемановский кружок объединял «почитателей писателя Розанова» и, в частности, что именно Дурылин давал Леману «справки и устные сведения о настроениях, высказываниях Розанова и его биографии», «пропагандировал некоторые моменты из учения Розанова, являющегося, несомненно, контрреволюционным»³³. В заключении же СО ОГПУ Дурылину инкриминировалось распространение литературы «антисемитского содержания»³⁴.

В 1970–80-е гг. часть архива С. Н. Дурылина его вдова, А. И. Комиссарова-Дурылина, передала в РГАЛИ. При этом она стремилась сделать машинописные копии (и не в одном экземпляре) всех отдаваемых текстов.

²⁹ *Леонтьев К. Н.* Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни // *Леонтьев*. Т. 6 (1). С. 294.

³⁰ *Резниченко А. И.* О смыслах имён. Булгаков, Лосев, Флоренский, Франк et dii minores. М., 2012. С. 363–364.

³¹ *Макаров В. Г.* «...Элемент политически безусловно вредный для Советской Власти» (по материалам следственных дел в отношении С. Н. Дурылина 1922 и 1927 годов) // *Сергей Дурылин и его время: Исследования. Тексты. Библиография* М., 2010. С. 50–54.

³² Там же. С. 76.

³³ Там же. С. 69–70.

³⁴ Там же. С. 75.

Однако мы не имеем копий докладов о Леонтьеве, за исключением рукописной копии работы «Религиозный путь К. Леонтьева», выполненной Е. В. Гениевой, которая, вместе с оригиналом, также хранится в РГАЛИ. Поэтому рукопись публикуется по черновому автографу: РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 167. Архивное дело представляет собой стопку отдельных тетрадных листов, вложенных в картонную обложку от толстой тетради коричневого цвета. На обложке тетради в центре — заголовок рукой С. Н. Дурылина, сделанный синим карандашом: «Эстетика К. Леонтьева». Под ним наклеен фрагмент бумаги с заголовком, сделанным также рукой автора фиолетовыми чернилами (теми же, что и текст): «Эстетическое мировоззрение Леонтьева. Доклад в Академии Худ<оже>ственных наук и матерьялы к нему». На обороте обложки — записи Дурылина карандашом, относящиеся ко времени его работы в Челябинском областном краеведческом музее (1923–1924). Авторская нумерация (101 лист) начата красным и завершена синим карандашом рукой автора, однако общее количество пронумерованных листов — 162. Дополнительные листы — либо целые тетрадные, либо фрагменты тетрадных листов с цитатами из Леонтьева, причем часть цитат выписана рукой неустановленного лица (предположительно, Е. В. Гениевой). Дурылин использовал эти фрагменты в качестве заготовок, в нужные места он их наклеивал. Все эти вставки цитат пронумерованы в архивном деле по отдельности, отсюда и возникло общее число 162 л. Несколько вставок вложено в рассыпающийся текст в неверном порядке. Некоторые подборки цитат имеют заголовки тем, по какой-то причине не разработанных автором. Текст содержит многочисленную авторскую правку, он состоит из 8 глав, но 2-я глава пропущена.

Публикатором текст приведен к нормам современной орфографии лишь частично; при публикации учтены и по возможности сохранены особенности правописания Дурылина; квадратные скобки в тексте принадлежат автору; в угловых скобках — конъектуры публикатора. Если, цитируя К. Н. Леонтьева, автор не указывает название работы, а только номера томов и страницы, то в комментарии указывается название и с ремаркой «*Леонтьев.*» дается ссылка на: *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: в 12 т. / Подготовка текстов и комментарии В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. СПб., 2000–2014.

Публикатор приносит благодарность Г. Б. Кремневу за целый ряд замечаний и уточнений.

Эстетическое мировоззрение Леонтьева

Доклад в Академии Худ<ожественных> Наук и материалы к нему

Февраль 1927

Эстетические взгляды Леонтьева.

Домыслы и наброски

I

Всякий, пытающийся говорить о К. Леонтьеве неизбежно должен, поневоле, вместе со своим слушателем читать Леонтьева. [Да, читать], — не перечитывать, не вспоминать прочитанное, не ссылаться на страницы в томах, [как это делается при беседе о Досто<евском> и Толстом], обретающихся в домашних библиотеках, — а именно читать, ибо Леонтьев — писатель в значительной части не только не прочтенный, но и не разрезанный еще читателем [1]. Существующее — 9-томное собрание сочинений Леонтьева не доведено до конца [2]. Письма Леонтьева, содержащие важнейшие его признания по вопросам [богословским, философским], социально-политическим, частью разбросаны по трудно доступным старым журналам — большей же частью вовсе не напечатаны. Кроме переписки, не издан еще целый ряд произведений Леонтьева, существенно важных для характеристики его миросозерцания. В таких условиях цитировать — значит просто знакомить впервые с мыслями писателя, и это становится прямым долгом всякого, кто пытается говорить о К. Леонтьеве.

Берущий слово говорить о Леонтьеве вынужден передавать это слово самому Леонтьеву, а сам принужден ограничиваться лишь немногими замечаниями, подвергая себя неизбежным упрекам в неясности, недоказательности и т.д. То, что я имею честь предложить вашему вниманию, не более, — как материалы для суждения об эстет<ических> взглядах Л<еонтье>ва. Но есть способ лишить Леонтьева слова как раз по тому вопросу, который поставлен на повестке заседания: «Эстетические взгляды К. Леонтьева». Стоит лишь прислушаться к тому, что Л<еонтьев> писал в 1890 г. Владимиру Соловьеву:

Отношение к философскому началу

<<>Есть врачи и физиологи, которые думают, что уже в зародыше... заложены в человеке те патологические или хоть, общее говоря, физиологические начала, которые впоследствии обнаружатся вполне в виде определенных болезней... Верить в такую таинственную прирожденность можно; но проследить, как из какой-то незримой точки развивается целая картина болезни, кто возьмется? А сама болезнь видна всякому.

Я предпочитаю думать о подобных „картинах“ жизни, чем о незримых точках. Я понимаю, что другой человек, в высшей степени, конечно, умный, может находить особого рода наслаждение в том, чтобы выпустить из себя, как паук паутину, непрерывную диалектическую нить, прикрепив ее предварительно в уме к какой-то невидимой и всегда произвольной точке... Я даже не позволю себе никак отвергать пользу этого испускания философских нитей из умственных недр человека. [Я не хочу быть петухом, который „нашел жемчужное зерно и говорит: на что оно?“ Но не завидую и „Метафизику“ Хемницера [3], который, упавши в яму, думает о том, что такое веревка? „Вервие ли оно простое или нет?“]

Я только сам не мастер испускать из себя эту паутину; да и в чужой философской паутине скоро вязну и скупаю.

Совсем без философии, я знаю, нельзя; всякий мужик философствует немного; и не только тогда, когда он говорит „Бог“, „душа“, „грех“ и т.д., но и тогда, когда он говорит „стол“, „шапка“, „жена“, „работа“; ибо и это все отвлечения... Но не только от такой элементарной, но и от несравненно высшей философии... отказаться нельзя. Но есть французская старая и глупая песенка какая-то: „Faut d'la vertu, pas trop n'en faut“. Так и скажу: „Faut d'la philosophie, pas trop n'en faut“ [4], когда речь не о философии, но о делах политических и социальных.

Я и Ваш ум, Вл<адимир> С<ергеевич>, за то особенно ценю, что Вы не в силах были остаться в вашей прекрасной <...> ткани „Отвлеченных начал“ [5], но очень скоро выпутались из нее и обратились... к вещам, вне нас стоящим, более зримым и осязаемым. Если Вы с Вашим истинно диалектическим талантом нашли более удобным выйти на попрание более конкретных вопросов, то где же уж мне, „художнику“, и отчасти... политику, где мне углубляться в эти „начала“ без концов?

Я их чую, положим; я даже готов пламенно веровать в их существование, в их необходимость и только» [6].

Леонтьев, на всем протяжении почти 40 лет своей литературной деятельности, не сделал попытки «испускать из себя паутину» философии. [Со свойственной ему прямоотой он признается, что и «в сути философских паутин скоро вязнет и скучает»]. Это правда. В Леонтьеве никогда не было прямого интереса к философии. В молодости он читал философов-материалистов. В зрелые годы, судя по его ремаркам на книге, он с злорадной издевкой прочел Спенсера, а в конце жизни он прилежно изучал Шопенгауэра и Гартмана [7]. Из русских философов он хорошо был знаком с сочинениями И. Киреевского, Хомякова, Ю. Самарина, Страхова и Вл. Соловьева [8]; по признанию В. В. Розанова, он был в числе немногих читателей его трактата «О понимании» [9]. Но все это философское чтение Леонтьева было удовлетворением не философских, а совершенно других потреб: так, напр., он интересовался немецкой пессимистической философией только как важным симптомом целой эпохи европейской культуры, — эпохи, которую он называл эпохой «вторичного смещения». Философия вообще была для Леонтьева — симптомом: те культуры и народы «философствуют», и хорошо философствуют, которые уже близятся к концу, у которых сложное цветение готово смениться длительным раздумьем над причинами и смыслом всякого цветения, всякого бытия; эпоха религиозная, политическая, эстетическая — сменяется эпохой философической, Греция Эсхила, Софокла, Фидия, Перикла — Грецией Сократа, Платона и Аристотеля. Как симптом отцветания культуры и расы, Леонтьев не желал преобладания философии для России. Прочтя в одной рукописи В. В. Розанова предведение: «Вековые течения истории и философии — вот что станет, вероятно, в ближайшем будущем любимым предметом нашего изучения» [10], Леонтьев писал ему: «Я опасаясь для будущего России чистой оригинальной и гениальной философии... Лучше 10 новых мистических сект (вроде скопцов и т.п.), чем 5 новых философских систем (вроде Фихте, Гегеля и т.п.). Хорошие философские системы, именно хорошие, — это начало конца»³⁵ [11]. «Эстетика», как особая философская дисциплина, не изымается Леонтьевым из всей философии: он также, — и даже еще больше, — почтительно равнодушен к ней, как вообще к философии, — еще больше потому, что, как ему кажется, тонкая, стройная и прекрасная паутинка эстетики ткется не из тех нитей, из каких ему желалось бы: эстетика, как философская дисциплина, строится

³⁵ Из переписки К. Н. Леонтьева. «Р<усский> В<естник>», 1903, май, стр. 179. Письмо от 13 июня 1891 г. из Оптиной пустыни.

по-преимуществу> на материале искусства, тогда как, по Леонтьеву, он должна была бы построиться на материале, даваемом жизнью и историей. «Искусство неважно, искусство — второстепенная проблема, потому что самая жизнь должна стать достойной эстетической оценки»³⁶. «А „прекрасное“, — изучаемое эстетикой, „прекрасное“, — говорит Леонтьев, — нынче все потихоньку спускается в те скучные катакомбы пластики, которые зовутся музеями и выставками и в которых происходит что-нибудь одно: или снуют без толку толпы людей мало понимающих; или „изучают“ что-нибудь специалисты и любители, т.е., люди, быть может, и понимающие изящное „со стороны“, но в жизнь ничего в этом роде сами не вносящие. Сами-то они большею частью как-то плохи — эти серьезные люди» [12].

Прекрасное — не в мыслительном преломлении философской эстетики, прекрасное — даже не в творческом запечатлении в искусстве, «прекрасное» — в живом цветении жизни и в великом оказательстве истории: вот тема Леонтьева, — в сущности, его единственная тема. Поскольку он — в ней, он — без места в истории философии, даже без малейшего права на это место. Эстетика всемирной истории еще никем не написана; самая проблема такой эстетики — еще не поставлена. «Эстетика жизни», как учение об эстетических формах живой жизни, и об эстетических оценках текущего процесса жизни, — также еще никем не написана, хотя у целого ряда мыслителей можно приметить страстный порыв к ней (Рескин, Уайльд и др.). А только в этих двух «эстетиках» нашлось бы место Леонтьеву, и пока эти две «эстетики» не напишутся, он и останется без места. Все, что им высказано о прекрасном в жизни и истории, все это — не более, как обломки мрамора и дерева, которые, быть может, пригодятся для будущего здания.

Впрочем, очень легко в двух словах выразить то, что Леонтьев хотел сделать трудом всей своей мысли и жизни. Эти два слова принадлежат другому мыслителю, вспоминаемому при имени Леонтьева — они принадлежат Ницше. «Я сам пытался найти эстетическое оправдание миру в форме ответа на вопрос: как возможно безобразие мира? Я считал волю к красоте, к пребыванию в тождественных формах, временным средством сохранения и поддержания. Но в основе мне казалось, что вечно-творящее начало, как осужденное и вечно разрушать, связано

³⁶ Грифцов. Судьба Леонтьева. «Р-усская» М<ысль>», 1913, II, 62.

со страданием»³⁷. Это — весь Леонтьев с его эстетикой, с его теорией мировой красоты и мирового страдания, на которых основано эстетическое долголетие мира и человечества.

III [13]

Две проблемы внутреннего опыта являет история жизни и мысли К. Леонтьева — проблему религиозного опыта и проблему эстетического опыта.

Эстетический опыт К. Леонтьева необыкновенно глубок, постоянен, разносторонен, он поражает своей силой и искренностью и сопутствует ему от первых шагов детства до могилы. Леонтьев с детства зорек на безобразие и красоту мира. Там, где другие морально воспринимают, Леонтьев эстетически созерцает. То явление, которое другим являет свою нравственную сторону, оборачивается к Леонтьеву стороной эстетической. У него с детских лет — величайшее эстетическое внимание к миру. В его романе «Подлипки» [14] бедный родственник героя романа Лебедева, — являющийся alter ego Леонтьева, — пишет ему о кончине матери: «Ты понимаешь, Володя, кого я лишился с ней». «Модест ошибался, говоря, что я пойму его утрату, — признается Ладнев-Леонтьев. — Я вздохнул свободнее и за себя и за него. Чтож делать! С мыслью о матери я привык соединять чувство изящного, глядя на белокурую женщину в голубом газовом шарфе и с букетом белых роз в руке, которая висела на стене тетушкина кабинета. А его старушка, казалось мне, только мешала ему жить оханьем и растрепанными волосами» [15]. Вот отрывок, который во всей русской литературе мог быть написан одним Леонтьевым. Леонтьева так легко укорить здесь за безнравственность, за некое художественное предательство великой идеи «матери», приведя ему в поученье известные стихи о матери Некрасова. «Мать» — для Леонтьева — здесь прежде всего «образ» — пластический, точный, полный, со строго найденною формою, — и этот образ, — внутренне ему не менее дорогой, чем Некрасову — его собственный, — цветет в его сознании, не допуская прав на существование иного образа, которому не хватает в его глазах, эстетического оправдания. Но роману Леонтьева в точности соответствуют его подлинные воспоминания: в них та же, единственная в русской литературе, эстетика матери. «Я так ее любил и так

³⁷ Ф. Ницше. Воля к власти. Кн. II–III: Критика философии. Собр. соч., т. IX, М. 1910, стр. 177.

охотно на нее любовался!<»> — вспоминает Леонтьев свои детские впечатления от матери, которую он, действительно любил и чтит до конца ее жизни. — <«>Она была несравненно изящнее отца; а для меня это по врожденному инстинкту было очень важно!»³⁸ [16]. Припоминая один свой юношеский спор с матерью, он опять вспоминает ее с неизменным эстетическим оправданием: «мать моя поняла, что я прав; замолчала и даже застыдилась. И мне стало так жалко, когда я увидел это честное смущение красивой, энергической и мужественной родительницы моей, что тотчас же стал целовать ее, и мы помирились» [17].

Даже для того, — для чего другим достаточно было простого родового чувства или обычного морального сознания, — Леонтьеву понадобилось эстетическое оправдание. [К счастью для него, оно у него было и в действительности, — иначе отсюда зазвучала бы первая трагическая нота в душе, не приемлющей с детства мирового и человеческого безобразия.]

В дальнейшем, все люди, встречающиеся Леонтьеву на его жизненном пути, весь быт, обычаи, навыки людские, — установления государственные и политические, исторические факты и идеальные построения, одежда и мысли, создания искусства и приемы речи, Бог и мир — все нуждалось в эстетическом оправдании. До какой степени Л<еонтьев> был тут трагически-искренен, жизненно-целен и рыцарски верен себе, мучительно и упорно ища этого эстетического оправдания и ни в чем не изменял своему эстетическому опыту, — о том свидетельствуют неоспоримые факты, лишь ничтожную часть которых я могу привести здесь.

Юношей 20 лет, с первым своим литературным опытом в руках, Леонтьев приходит к Тургеневу, уже прославленному автору «Записок охотника» [18], и он счастлив, что его любимый писатель как человек выдерживает его эстетическую цензуру.

Тургенев: «Росту он был почти огромного, широкоплечий, глаза глубокие, задумчивые, темносерые; волосы были у него тогда темные, густые, с небольшой проседью; улыбка обворожительная, руки как следует красивые, „les mains soignées“ [19], большие, мужские руки... Если бы он и дурно меня принял, то я бы за такую внешность полюбил бы его. Я ужасно был рад, что он гораздо героичнее своих героев»³⁹ [20].

³⁸ IX, 22.

³⁹ IX, 78.

«Эстетическая придирчивость» — собственное определение Леонтьева у него, у юноши, была так уже велика, что ее редкие выдерживали.

При знакомстве с автором «Писем об Испании», В. П. Боткиным [21], юноше Леонтьеву «становилось досадно, зачем такой плешивый и невзрачный ездил в страну Абен-Хамета и Сида, в страну Альгамбры и боя быков!»⁴⁰ [22]. Строгой жизненно-эстетической цензуры юноши Леонтьева не выдержал сам Гоголь. У Леонтьева была возможность познакомиться с ним.

«Кроме Тургенева, изящного, остроумного, светского, рослого и богатого [барина], и Фета, про которого я сказал бы стихами, если бы был стихотворец:

Улан лихой, задумчивый и добрый —
мне из литераторов и ученых лично никто не нравился для общества и жизни. Панаев и Некрасов оба были отвратительны. Гончаров тоже *épisier* [23], толстый и т.д. Майков очень жалок. Жена его носит очки»⁴¹ [24].

Гоголь был еще жив, «я знал, — вспом<инает> Л<еонтьев> — что он в Москве, но не имел ни малейшего даже желанья видеть его или быть ему представленным, потому что за многое питал к нему почти личное нерасположение»⁴² [25]. [«Меня все-таки еще долго продолжало гораздо больше интересовало то, что] Гоголь лицом на какого-то неприятного полового похож, [или то, отчего это] у него ни одна женщина в повестях на живую женщину не похожа»⁴³ [26]. Если вспомнить, с каким благоговением относились к Гоголю, как к родоначальнику художественной школы, писатели начала 50-ых гг. — то эстетическое дерзновение начинающего писателя Леонтьева покажется безпримерным: это целый эстетический бунт, ведомый всецело за свой страх и риск и на свою смело приемлемую ответственность. Бунт этот был следствием основного жизненного чувства, уже тогда всецело владевшего Леонтьевым. Оно не складывалось еще в вопрос, подобный тому, который задавал себе в 80-е гг. Ничше, а в 70-ых — тот же Леонтьев: «Как возможно безобразия мира»? Но оно выразилось уже в полном неприятии этого «безобразия» и противления ему. Совсем по-ничшевски, звучит это у Леонтьева 50-ых гг.: «Все некрасивое, жалкое, бедное, болезненное с виду ужасно подавляло меня тогда, не оттого, что я был сух или несострадательн»,

⁴⁰ IX, 104.

⁴¹ IX, 153.

⁴² IX, 107.

⁴³ IX, 111.

радость признания Тургеневым его литературного дара [27] «удваивалась, — как он помнит, — безкорыстной радостью тому, что сам Тургенев так красив» и даже тому, «что он богат»⁴⁴ [28]; — причина подавленности «некрасивым, жалким, бедным» была в том, что обратное: — прекрасное, сильное, щедрое, — было его всеопределяющим жизненным чувством, — тем алмазным оселком, на котором он пробовал все ценности жизни, истории и человека, — и тот, кто не выдерживал этой пробы, — пусть это сам Гоголь, — был до грусти далек и чужд ему.

Этот алмазный оселок не был оставлен Леонтьевым в течение всей его жизни. Обращение на Афоне, оптинское православие, монашество — лишь заставляли — его порою оставлять в бедности свой оселок или вынуждали признавать, что его «трансцендентный эгоизм» [29], как называл он заботу о религиозном устройении своей личности, требует того, чтобы поступать вопреки показаниям алмазного оселка, — но Леонтьев никогда не сомневался в истинности этих показаний. Леонтьев — зрелый человек и Леонтьев-старик шли, не отступая, по пути, начатому Леонтьевым-юношей. Леонтьев почитается крайним консервативом и реакционером, но, верный своему эстетическому оселку, этот охранитель готов был сетовать, что в 1863 г. Россия усмирила Польшу: усмирив, она подавила жизненное своеобразие, большую жизненно-эстетическую пышность Польши и приблизила ее к безцветному «общественному стилю» буржуазной Европы⁴⁵ [30]. Это — совсем не по Каткову, в изданиях которого сотрудничал Леонтьев, но и сам Катков был не по Леонтьеву [31]. Вот кто не выдерживал вовсе эстетической цензуры Леонтьева. У самого Герцена не найти более убийственной характеристики Каткова, чем та, которую дает ему эстетик Леонтьев в своей неизданной автобиографии:

<<>В гадкой редакции на Страстном бульваре что-то переделывали и Катков в это время был в своем Михайловском Дворце!

Я был в этом дворце еще летом, и горбатый Леонтьев угощал меня там под вечер плохим и слабым чаем [32].

У меня сердце (художественное сердце) разрывается, когда я смотрю на это жилище, заселенное теперь Катковым и Леонтьевым!

Я не знаток декоративной археологии и никак не могу вспомнить, в каком старинном вкусе отделан этот маленький дворец, во вкусе реставрации, госо или Pompadour — не знаю. Но знаю, что глаз отдыхает

⁴⁴ IX, 88.

⁴⁵ VI, 170–171.

на этих гостиных с расписными потолками, со свежей изящной мебелью не нынешнего фасона, с мраморными столами, яшмовыми вазами и т.п.

Я как увидел летом этот дом, снаружи пошлый, но внутри очаровательный, так мне сейчас же пришло на ум все эти гостиные Rambouillet, Dudeffant, M. Récamier, Staël [33] и т.д., в которых встречались военный и дипломатический, литературный дар, поэзия и мысль, остроумие и облагороженные страсти...

... И вдруг вместо всего этого... Софья Петровна Каткова [34]...

Впрочем и сам Катков с годами стал, не только ужасно неприятен характером, но сверх этого... как то сер... Мне все кажется, что и с него и со всех его вещей в его кабинете надо долго сметать пыль. Впрочем и направление его чем дальше, тем серее...

Мы пошли в кабинет (хороший, вероятно, потому, что они еще жили тут временно и не успели ничего испортить...<»> (1875 г.) [35].

[Гостиные в стиле Pompadour вместо великолепных m-me Rambouillet и Staël, «заселенные» Катковым, серым, как августовская пыль, и порошащим эту серую, неотмываемую пыль на искусство, мысль, жизнь] — эта алмазная проба Каткова стоит, как видно, самых пламенных филиппик Герцена! Можно бы представить унылое множество лиц, заслуживших высшие оценки литературы или политической современности, но не выдержавших более трудного испытания на леонтьевском оселке. Приведу еще один только пример. В 1873 г. Леонтьев жил в Константинополе, вращаясь в кругу русского посольства. Он легко мог познакомиться тогда со знаменитым Лессепсом. Но произошло то же, что и с Гоголем. Лессепс — рассказывает Леонтьев — «был на вершине своей славы (<18>73 г.). Он, французский буржуа, буржуазно-коллективными средствами исполнил то, чего не смог исполнить египетский фараон Нехао: он соединил Средиземное море с Красным... Так как эстетическое чувство было у меня всегда довольно сильно, то я не особенно интересовался видеть этого героя индустриального прогресса»⁴⁶ [36]. Встреча произошла лишь случайно.

Если прочесть все описания войны и битв, появившиеся в русской поэзии после Пушкина, — прочесть все, что говорят о войне Лермонтов, Л. Толстой, Гаршин и т.д. — то все это легко объемлется одним определением: «моральное неприятие войны», дошедшее до своего

⁴⁶ VII, 470–1.

логического завершения в нравственных формулах Толстого, севастопольского офицера. А севастопольский же полевой врач, — Константин Леонтьев [37], — один во всей русской литературе после Пушкина, — противопоставляет этому показание своего алмазного оселка: оно благоприятно войне, оно несет ей эстетическое и жизненное оправдание. Вот война в изображении Леонтьева — в странице его воспоминаний, зарисовывающих подлинные его переживания.

«Я был в упоении... Направо от нас тянулась безконечно вдаль зеленая, презеленая степь. На синем небе не было ни облачка... Крымские жаворонки пели и пели, пели и пели, взлетая все выше и выше. Их было множество, а трава на степи была очень свежа, майская трава, еще ничуть от жары не желтеющая, — высокая, душистая, густая...

Природа и война! Степь и казацкий конь верховой! Молодость моя, моя молодость и чистое небо! Жаворонки, эти жаворонки, — о, Боже! И, быть может, еще впереди — опасность и подвиги!..

Нет! это был какой-то апофеоз блаженства»⁴⁷ [38].

В русской литературе — поэтической и философской — нет параллели этому отрывку Леонтьева; она найдется у Ницше, в тех, напр., мыслях о войне, которые вошли в его «Волю к власти».

Оселок Леонтьева находится в непрестанной работе: на нем пробуются великие — Гоголь, Тургенев и величайшие — чему только что был пример, — и малые — до названия московской улицы включительно. Получив от Фета его «Вечерние огни» [39], Леонтьев пишет ему в неизданном письме: «Ваши поэтические „Вечерние огни“ напомнили мне другие, тоже вечерние, огни, — огни в окнах московских, когда я ехал, бывало, с таким удовольствием на Плющиху. — (Помню даже, что я не раз в санях сидя думал: „какое скверное имя Плющиха; не поэтическое! — Это Аф<анасий> Аф<анасьевич>, должно быть на ней купил дом нарочно, чтобы и этим доказать, до чего он в практической жизни боится поэзии“»⁴⁸ [40]. Глубокий почитатель и давний приятель Фета, он не явился на его 50-лет<ний> юбилей ради отвращения к обязательному на юбилеях фраку и белому галстуку, которые были для него символом буржуазного европейца XIX ст. Явиться во фраке, — спрашивает он Фета, — «или это было бы торжество нравственности над эстетикой, моей приязни и моего уважения к вам над фанатизмом ярких

⁴⁷ IX, 218.

⁴⁸ 3. П. <19>88 г. из Опт<иной> п<устыни>.

красок и красивых линий, колорита и складок, фанатизмом, который я, как видите, безумно, упорно и безстыдно готов исповедывать!»⁴⁹ [41].

По поводу фетовского юбилея он пишет близкому другу: «Нынешние формы литературной славы мне ужасно не нравятся. Некрасиво. Я понимаю, что когда кто-нибудь из наших генералов въезжал верхом в Адрианополь, напр., с музыкой — так это хорошо. Но, ведь, это чувство разделял с начальником и всякий неизвестный офицер и солдат. Ну, а литература?.. „Вошел маститый (!) юбиляр (!) в ЧЕРНОМ ФРАКЕ!“ — И к тому же они все такие дураки в этом отношении... Пишут поэзию, а сами ее не соблюдают в жизни. Натащут на юбилей старых своих жен и целое гнездо детей... и фраки, фраки, фраки. Очень некрасива физически нынешняя слава писателей. Вот слава и жизнь — это — Байрон. Этому можно и позавидовать, и порадоваться. Странствия в далеких местах Турции, фантастические костюмы, оригинальный образ жизни, молодость, красота, известность такая, что одной почты расходилось в 2 недели по 40.000 экз... Сама ранняя смерть в Миссалонгах, хотя бы и не в бою — венец этой прекрасной, хотя, разумеется, и нехристианской жизни».⁵⁰ [42]

Письмо это писано из Оптиной пустыни, за 3 <года> до смерти. Ни Афон, ни Оптина пустынь не заставили его забросить столько лет ему служившей аллегории оселка эстетики. Он по-прежнему прибегал к нему, пробуя на нем эстетическую доброкачественность людей, идей и событий. Но пробовал ли он на нем себя? Да, всегда и постоянно, с тою же неумолимою строгостью, с какою пробовал других. В середине 80-х гг. вокруг него собрался круг молодежи, благоговейно относившейся к его блестящему уму и таланту. Пробуя себя на своем старом оселке, он искренне не понимал, что могут находить в нем эти юноши: оселок давал неблагоприятные показания. «Горсть московской молодежи, любящей меня, видимо, с большою искренностью, — пишет он старому другу, — узнала меня уже больного, старого, связанного канцелярскими узамы, в том среднем положении полу-обезпеченности, полубедности, на которую обречен в столице всякий второстепенный чиновник... Я вижу, я знаю, что они находят во мне что-то, что им очень нравится... Но ведь я всегда по природе был пластик, Вы знаете, „элли“, и потому понять даже не могу, что во мне таком старом, больном, уже неинтересном с виду, и в такой скромной, бедной, городской, буржуазной обстановке им

⁴⁹ VII, 496.

⁵⁰ <К. А.> Губ<астов>. 22/XII. <18>88 г. из О<птиной> п<устыни>; Р<усское> О<бозрение>. <18>97, III, 457.

нравится; „внутренний мой человек“, как любит говорить психолог Астафьев [43], — „дух моей жизни“ или „жизнь моего духа“, как любил выражаться довольно туманно покойный Аксаков — вот что их должно быть привлекает! — А я (Вы-то знаете меня!) я — грешный, распрегрешный эстетик — эти 7 лет московской жизни моей, я с болью самолюбивого стыда вспоминаю их»⁵¹. И с неумолимой последовательностью Леонтьев подчинялся нелицеприятному эстетическому приговору своего алмазного оселка — когда этот оселок показывал, что испытываемое — Константин Леонтьев — не выдерживает испытания. В 1888 г. он писал Фету в неизданном письме: «Ну — на следующей неделе [книги] отправлю непременно и даже с приложением моей фотографии, которая очень удалась и, вероятно, будет последняя, ибо я нахожу преступлением против „изящного“, — когда люди уже дряхлеющие позволяют себе сниматься слишком поздно со всеми гадкими и мелкими морщинками, которые замечу кстати почему-то у дворян и высшей „интеллигенции“ вообще несравненно противнее, чем у старых крестьян, солдат и простых монахов. Я видел недавно фотографии очень старых: Дарвина и Пирогова. Это отвратительно; особенно — в европейском нынешнем костюме с открытой головой; чисто — орангутанги!»⁵² [44] (То же Губастову [45]: «если бы я долго еще прожил, то очень дряхлым я себя снимать не позволю. Что за охота!»)⁵³.

Если б существовали законы, карающие смертью за эстетические преступления, и если б Леонтьев признал, что он по заслугам подлежит этой каре, он не сделал бы ни малейшей попытки к бегству и сам подставил бы свою голову под карающий меч: до чего верен он был во всем и всегда суду алмазного оселка своей эстетики.

IV

«Я ласкаю себя надеждой, — писал однажды Леонтьев, — что будут учреждены новые общества для очищения умственного воздуха, философско-эстетическая цензура, которая будет охотнее пропускать самую ужасную книгу (ограничивая лишь строго ее распространение), чем

⁵¹ <К. А.> Губастову, 26/V <18>88 из Оп<тиной> п<устыни>; Р<усское> О<бозрение>, <18>97, III, 443-4.

⁵² Фету, II/VII. <18>88.

⁵³ 17/VIII. <18>89; Р<усское> Об<озрение>, <18>97, V, 419.

безцветную и безхарактерную»⁵⁴ [46]. Леонтьев сам учредил такую философско-эстетическую цензуру для истории, социологии, искусства, быта, жизни, личности человеческой, для самого себя, — и, как цензор, *arbiter elegantiarum* [47], готов был «охотнее пропустить» самое «ужасное» явление истории — войну, эпоху крови и насилия, — лишь бы красочное и полноцветное, чем «безцветное» и безхарактерное.

Необходимость учреждения этого верховного эстетического трибунала для Леонтьева очевидна из того места, которое занимает в мире красота. Она — единое Сущее: она одна дает смысл бывающему, — будет ли это «бывающее» — история, этика, искусство, или социология. Красота не нуждается ни в какой санкции и оправдании, но никакая последующая космодицея и антроподицея невозможны, если они не кладут в свою основу прочнейший камень мира и бытия — алмазный камень красоты. В зрелые годы Л<еонтьев> любил повторять слова Данилевского: «Красота есть единственная духовная сторона материи; следовательно, красота есть единственная связь этих двух основных начал мира». «Бог пожелал создать красоту и для этого создал материю» [48], — другими словами: Бог пожелал создать красоту — и для того, только для того, — создал мир. В более молодые годы Леонтьеву не надобилось даже и этих утверждений: для него самоочевидным, изначально-данным стоял вселенский факт красоты — от красоты Сириуса на небе до красоты фустанеллы [49] на эфирском греке, — и этот факт представлялся ему столь же оправданным для всяких суждений и философских и социологических построений, как факт существования природы — представляется отпавшим и самоочевидным для естествознания. Этот факт красоты — самоцельной, самодержавной, самооправдательной, самочинной — столь же неколебим в мире, как факт природы. Искусство, политика, история, социология, — каждая по своему, — лишь стремятся перейти к нему, как в высший класс бытия, пройдя предварительно приготовительные классы страдания и борьбы. Тот, кто не прорвался к этому «факту красоты», тот — будет ли это целый народ, целый класс общества в своем историческом бытии или только отдельный художник в отдельном создании своем, тот лишен права на бытие. Прочитав «Накануне» Тургенева, Леонтьев упрекает знаменитого романиста как раз за такое эстетическое преступление — и упрек этот был Тургеневым признан за справедливый: «Вы не перешли за ту черту, за которой живет красота,

⁵⁴ VI, 52.

или идея жизни, для которой мир явлений служит только смутным символом. А какая цена поэтическому произведению, не переходящему за эту волшебную черту? Она невелика; если в творении нет истины прекрасного, которое само по себе есть факт, есть самое высшее из явлений природы⁵⁵, то творение падает ниже всякой научной вещи, всяких поверхностных мемуаров, которые, по крайней мере, богаты правдой реальной и могут служить материалом будущей науки жизни и духовного развития»⁵⁶ [50].

Эстетическая жизнь мира и человека, Сириуса или албанца в фустанелле, Филиппа II-го или Сен-Жюста, не нуждается ни в каком оправдании, если она есть на лицо. Если «взыскательный художник» — Красота — довольна тем или иным актом всечеловеческой трагедии — разыгрывается ли он на персидской триере Ксеркса во время бури, когда персидские вельможи, чтобы облегчить груз гибнущего царского корабля, бросаются, славя Ксеркса, один из другим в волны Геллеспонта [51], или разыгрывается он с Робеспьером и Сен-Жюстом в главных ролях, толпами восставшего народа, если «взыскательный художник» — Красота — доволен замыслом игры и постановки; все решено: оправдана история. В суждении об историческом слово принадлежит не морали, а эстетике — вот постоянное убеждение Леонтьева. Небольшой по размерам, — но великий по цене алмаз; — эстетический феномен, — может оправдать целую вековую тугу и напряженность исторического процесса с его затратой множества человеческих жизнетрудов. «Для того, кто не считает блаженство и абсолютную правду назначением человечества на земле, нет ничего ужасного в мысли, что миллионы русских людей должны были пережить целые века под давлением трех атмосфер — чиновничьей, помещичьей и церковной, хотя бы для того, чтобы Пушкин мог написать Онегина и Годунова, чтобы построили Кремль и его соборы» [52] <...> Эстетика не связана ничем с моралью, так же как не связана с нею в своем бытии — природа. Жизнь в красоте, жизнь красоты, жизнь от красоты — ничего общего не имеет с жизнью в добре, добром и от добра. Тургеневу Леонтьев пишет про лучшие его произведения: «Природа грозила убить искусство; но Ваш художественный такт одной трагической чертой возвратил им всем эстетическую жизнь. Где здесь нравственный исход? что хотел сказать автор? чья вина? что надо сделать? мы этого не видим (ни в „Рудине“, ни в „Гнезде“

⁵⁵ Ср. как впоследствии Л. Толстой об этом говорит.

⁵⁶ VIII, 6.

ни в „Затишье“) Этого и не нужно видеть тому, кто хочет жить в красоте и красотую<>> [53].

Тот, кто пытался бы это видеть в создании искусства, — как и в истории, и в жизни, — тот разрушил бы мир красоты, но не создал бы ничего более прочного. Красота — одна пребывает; все остальное гибнет. <>>Огонь исторических, временных стремлений гаснет, а красота не только вечна, но и растет, по мере отдаления во времени, прибавляя к самобытной силе своей еще обаятельную мысль о погибших формах иной, горячей и полной жизни»⁵⁷ [54]. Красота не нуждается в истине: она сама есть истина, и то, что обычно зовется «истиной», есть обеднённый, омертвлённый, исхудавший лик красоты, не более. «Красота — говорит Леонтьев — та же истина, только не ясная, не голая, а скрытая в глубине явления. И чем явление сложнее, тем красота его полнее, глубже, непостижимее. В явлениях очень простых красота (нам кажется) тождественна с истиной, с явной законностью. Наслаждение красотой (как одно из проявлений наслаждений вообще) удовлетворяется в этих простых случаях простою, ясною верностью закону, отчетливостью. Чисто, правильно начертанный треугольник, круг, отлично выточенный цилиндр или куб радуют глаз наш больше, чем те же самые фигуры, не совсем законно исполненные. Чем выше поднимаемся мы в природе от математических фигур и минералов к человеку, тем сложнее становится красота, тем туманнее просвечивает сквозь нее закон. Чем туманнее это просвечивание сквозь сложную среду, тем сильнее действует оно на сложного, развитого человека»⁵⁸ [55].

Красота не нуждается и в оправдании пользой. Она также а-утилитарна, как и а-моральна. Даже красота в природе и ее явлениях бесполезна, но в то же время — повсюдна, и здесь, в исповедании догмата бесполезности и в признании категорического императива красоты, человек должен учиться у красоты, естественник и медик по образованию, Леонтьев много раз подчеркивает это: <>>[Изо всей природы только один европейский человек в XIX веке начал для праздников своих надевать траур, — и траур при этом куций: не мантию черную, а черный камзол какой-то с двумя черными же хвостами позади<>> [56].

Природа же эстетична по существу, ее красота — бесполезна. Розанов и его «красота»] [57].

⁵⁷ VIII, 14.

⁵⁸ VIII, 24–25.

«Автономия красоты в природе».

<<>Красивые цветы совсем не нужны (им, растениям < — С. Д.>) для ближайшей цели. Многие травы и большие деревья цветут цветами зелеными и невидными, и это не мешает им размножаться, — но большинство растений цветет цветами разноцветными, иные душистыми. Это не для них самих, это роскошь, это избыток сил прекрасного, это — поэзия. Поэзия жизни самой, а не поэзия отражения в человеческом искусстве. И у многих животных есть такой ненужный для них самих избыток красоты...

Почему же и к людям не прилагать той же внешней эстетической мерки? <>>⁵⁹ [58].

Точные науки не знают и не должны знать учение о конечных целях. Телеология в жизни невозможна еще более, чем в науке. Со всею суровостью естественника, медика, а впоследствии и с сугубою богословскою суровостью православного человека, Леонтьев отрицает телеологию жизни на земле, признавая, что будущее — если на него смотреть со строго-научной или, наоборот, со строго-православной точки зрения, сулит только одно: гибель человечества и земли. И, тем не менее, для эстетики, — для одной эстетики, — Леонтьев делает исключение: пусть землю и человека ожидает гибель, но телеология красоты остается в силе: жить, пока есть жизнь, можно и нужно для прекрасного, а когда придет гибель — то «трагическое», о котором так любил говорить Леонтьев вместе с Ничше, — то и в гибели может явиться последняя вспышка игры такого черного алмаза красоты, которая и для самих гибнущих, и для возможных зрителей смерти, оправдывает эту гибель:

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю —
И на краю вселенской гибели [59].

«Отчего же все боятся говорить о конечных целях в точных науках, которые проще жизни, а не боятся решать конечную цель жизни, которая еще до сих пор необъятна? — спрашивает Л<еонтьев> устами своего alter ego в романе „В своем краю“ — Конечная цель нам неизвестна... Но нам есть указание в природе, которая обожает разнообразие, пышность форм; наша жизнь по ее примеру должна быть сложна, богата... Прекрасное — вот цель жизни [60], и добрая нравственность

⁵⁹ VII, 486–7.

и самоотвержение ценны только как одно из проявлений прекрасного, как свободное творчество добра. Чем больше развивается человек, тем больше он верит в прекрасное, тем меньше верит в полезное. <...> Малоразвитой человек везде ясно видит пользу; но чем сознательнее идем мы в жизни, тем труднее решить, что истинно полезно для других. <...> Прекрасное не гибнет никогда: погубило здесь, поднялось там; вооружась прекрасным, мы понимаем и любим историю; с одной пользой, честностью и миролюбием мы видим в жизни народов только слезы, кровь и обманутые надежды. Я не боюсь демократических вспышек и люблю их <...>; на почве этих стремлений вырастают гремучие и мужественные лица... В средние века была поэзия религиозных прений и войн; теперь есть поэзия народных движений»⁶⁰. Последовательное применение а-морального эстетического критерия к явлениям всемирной истории, — непрерывно, с твердостью, похожей на твердость Ницше в его «переоценках ценностей», совершаемый Леонтьевым опыт эстетической проверки всемирной истории и современности, возбуждали наиболее резкие отзывы со стороны критиков Леонтьева. Даже такой тонкий критик-мыслитель, как Франк, определяет этот «корень» Леонтьева, как «эстетическое изуверство»⁶¹ [61]. «Эстетизм, — говорит Франк, — сам по себе гораздо более тяготеет к оптимизму, к любовному, всепрощающему, гармоничному умонастроению. „Преодоление морали“ идет в сторону отрицания зла... Но эстетический аморализм Леонтьева имеет не оптимистическую, а ярко пессимистическую окраску; он направлен не на преодоление самого понятия зла, а скорее на признание прав зла, как такового»⁶². Нечувствительно, критик сам подменяет критерий эстетики критерием нравственным, и удивляется, почему Леонтьев не хочет этого делать? Эстетика, если она хочет быть самодержавна, вовсе не должна входить в чуждую ее область нравственного: не ее дело поэтому «преодолевать зло» или приводить к любовному настроению; не ее дело вообще вмешиваться в распря добра со злом, — и то, что критику кажется у Леонтьева «эстетическим изуверством», на самом деле есть только эстетическая последовательность: сфера нравственного, точно так же, как и сфера природного, этика, как и физика, — для него только — материал, из какого построится прекрасное, и, как требовательный

⁶⁰ I. 414–15.

⁶¹ <С. Л.> Франк. Миросозерцание К. Леонтьева в сб<орнике> «Философия и жизнь». СПб., 1910, стр. 384.

⁶² Ib<id>, 385–7.

зиждатель, он озабочен тем, что этот материал был разнообразен, многоценен, многоформен: иначе постройка будет суха и бела, но однообразна и бледна. Вот почему он не может не стоять за признание эстетических «прав зла», — совершенно так же, как стояли за это признание Ницше и Бодлэр [62], — только чего не может не признать сам критик, — «еще сильнее их». «Что лучше, спрашивает он, — кровавая, но пышная духовно эпоха Возрождения, или какая-нибудь нынешняя Дания, Голландия, Швейцария — смиренная, зажиточная, умеренная?» «Лучше» — здесь не моральное — а чисто-«эстетическое» «лучше», ничего общего не имеющего с категориями «добра» и «зла». И потому для Л<еонтьева> эстетические права «зла» — такая же несомненность, как эстетические права вне-нравственных категорий «природа» и «космос»; все это — вне всякой области нравственного.

Теоретические утверждения подобного рода у Леонтьева многочисленны на всем протяжении его литературной деятельности. С великолепною, чисто ничшевскою, афористическою законченностью, они выражены героем его романа «В своем краю» (1862 г.) — Милькеевым, — alter ego Леонтьева, по его собственному признанию.

Милькеев, по словам одного из действующих лиц романа, — «он доложит самым фактом красоты», он будет один на необитаемом острове — так и там то же. «Поэзия есть высший долг» [63]. «Исполняют же люди долг честности, говорит он, а я исполняю долг жизненной полноты»⁶³. Эстетическое — шире и объемней нравственного; эстетическое обладает большею всеобщностью, большим мировым охватом, чем нравственное, — и потому оно первее нравственного, оно — totum, тогда как нравственное — лишь pars. Это убеждение Л<еонтьева> великолепно и отточено выражено им самим в конце жизни, за 2 месяца до смерти, уже выражено Милькеевым-Леонтьевым в 1864 г. в словах:

— Не правда ли, доктор, нравственность есть только уголок прекрасного [64], одна из полос его?.. Главный аршин — прекрасное. Иначе, куда же деть Алкивиада, алмаз, тигра и т.д.⁶⁴

Прекрасное самоцельно, — и потому им можно оправдывать все, но оно само — ни в чем и ни в каком оправдании не нуждается. Вот сцена из того же романа, которую мог — через много лет — написать бы сам Ницше: она написана задолго до появления первых его сочинений:

⁶³ I, 298.

⁶⁴ I, 282.

— Я думаю, главное, чтоб не было насилия? — возразила Катерина Николаевна: — это главное... Или нет...

— Все условно-с.

— А как же оправдать насилие?

— Все условно-с. Пожалуй, и не оправдывайте.

— Нет, надо оправдать.

— Оправдайте прекрасным, — говорил Милькеев, одно оно — верная мерка на все. Потому что оно само себе цель. Всякая борьба являет опасности, трудности и боль, и тем-то человек и выше других зверей, что он находит удовольствие в борьбе и трудностях. Поход Ксенофонта сам по себе прекрасен, хоть никакой цели не достиг!»⁶⁵ [65]

Зло в красоте

Что больше борьбы и зла? [66]... Нация та велика, в которой добро и зло велико... Зла бояться? О, Боже! Да зло на просторе родит добро!.. Если для того, чтобы на одном конце существовала Корделия, необходима лэди Макбет, давайте ее сюда, но избавьте нас от бессилия, сна, равнодушия, пошлости и лавочной осторожности.

— А кровь? — сказала Катерина Николаевна.

— Кровь? — спросил с жаром Милькеев, и опять глаза его заблестали не злобой, а силой и вдохновением. — Кровь? — Повторил он: — кровь не мешает небесному добродушию. Жанна д'Арк проливала кровь, а разве она не была добра, как ангел? И что за односторонняя гуманность, доходящая до слезливости, и что такое одно физиологическое существование наше? Оно не стоит ни гроша: одно величественное столетнее дерево дороже двух десятков безличных людей; и я не срублю его, чтобы купить мужикам лекарство от холеры!»⁶⁶ [67]

Подобную же сцену можно извлечь из лучшего, самого художественно совершенного, романа Леонтьева, «Одиссей Полихрониадес» [68], законченного уже в 1882 г.

В Янине, по улице, проходит красавец-турок, в великолепной восточной одежде — насильник, грабитель и убийца многих христиан. Два консула — австрийский Ашенбрехер и русский — Благов, видят, как он проходит по улице, сияя красотой. Их эстетические впечатления одинаковы:

⁶⁵ I, 305.

⁶⁶ I, 305–6.

турок прекрасен, но австриец не может не пропустить своего впечатления через этическую цензуру.

— «Quelle beauté! [69].. Какая жалость, что этот молодой человек такой преступник, такой негодяй!

На это Благов-Леонтьев отвечает ему, отстраняя эту цензуру, — „с веселостью“.

— Я жалею о другом. И я его видел и отдаю справедливость и костюму его и наружности; и даже так оценил все это, что пожалел об одном: отчего я здесь не всемогущий сатрап... Я сначала выписал бы из Италии живописца, чтобы снять с него портрет, а потом повесил бы его... Я не говорю: посадил бы его на кол, потому что, как Вы знаете, теперь это не принято... но я повесил бы его тоже картинно: при многолюдном сборище и христиан, и турок, чтобы турки учились впредь быть осторожнее... И сам присутствовал бы при этой казни... Я не шучу.

— О! — воскликнул, смеясь, австриец: — какое нероновское соединение артистического чувства и кровожадности... О!..

Благов немного покраснел и отвечал:

— Что ж Нерон?.. Вот разве мать... Это конечно... Но нельзя же уверять себя, что пожар Рима был не красив.

— Ecoutez! [70] — воскликнул Ашенбрехер, — Вы сегодня ужасны!»⁶⁷.

Этически австриец повторяет здесь отзыв русского философа: «эстетическое изуверство», — повторяет то, что говорили о Леонтьеве — Ив. Аксаков, Страхов, С. Рачинский, С. Трубецкой и др., люди самодержавной этической цензуры [71].

«Зло» в истории есть одно из слагаемых мирового здания красоты, — так же, как и добро есть не более, как одно из таких слагаемых. Мировая гармония — не есть этическое задание человечеству, как думают моралисты, социологи и политики; мировая гармония — есть эстетическое, — только эстетическое задание человечеству, — и чтобы его осуществить, потребны в равной мере добро и зло, страдание и наслаждение, борьба и покой, кровь и слезы, цепи и свобода, железо и золото. Все эстетическое не может не быть антиномическим. <<»Высшее развитие, по-нашему же (т.е., по фактам естествоведения) — характерно документирует Леонтьев — состоит из наибольшей сложности с наибольшим единством. Замечательно, что с этим определением идеи развития в природе вещественной соответствует и основная мысль эстетики: единство

⁶⁷ IV, 496-7.

в разнообразии, так называемая гармония, в сущности не только не исключаящая антитезы и борьбы, и страданий, но даже требующая их»⁶⁸ [72]. Жизнь есть высшее художественное произведение, предельная эстетическая ценность в мире и эта ценность требует, конечно, гармонии; в конечном счете, она сама есть эта гармония, но путь к ней ничего общего не имеет с этическим путем. «Гармония — или прекрасное и высокое в самой жизни, — говорит Леонтьев, не есть плоть вечно-мирной солидарности, а есть лишь образ или отражение сложного и поэтического процесса жизни, в которой есть место всему: и антагонизму, и солидарности. Надо, чтобы составные начала цельного исторического явления были изящны и могучи — тогда будет и то, что называется высшей гармонией» [73].

Эстетическое оправдание истории

Чтобы до пластической ясности довести свою идею — эстетики мировой гармонии, Леонтьев дает, действительно превосходный пример того, что он понимает под словом «гармония». Пример такого эстетического оправдания бытия Леонтьев берет из жизни Пушкина. «Пушкин сопровождает Паскевича на войну; присутствует при сражениях. Много людей убито, ранено, огорчено и разорено. Русские победителями вступают в Эрзерум. Сам поэт испытывает, конечно, за все это время множество сильных и новых ощущений. Природа Кавказа и азиатской Турции; вид убитых и раненых; затруднение и усталость походной жизни; возможность опасности, которую Пушкин так рыцарски любил; удовольствия штабной жизни при торжествующем войске; даже незнакомое ему дотоле наслаждение восточных бань в Тифлисе... После всего этого, или под влиянием всего этого (в том числе и под влиянием крови и тысячи смертей), Пушкин пишет какие-нибудь прекрасные стихи в восточном стиле.

Вот это гармония, примиренье антитезы, но не в смысле мирного и братского нравственного согласия, а в смысле поэтического и взаимного восполнения противоположностей и в жизни самой, и в искусстве.

Борьба двух великих армий, взятая отдельно от всего побочного во всецелости своей, есть проявление „реально-эстетической гармонии“⁶⁹ [74].

⁶⁸ VI, 40.

⁶⁹ VIII, 202–3.

Этот пример взят из одной работы Леонтьева, относящейся к самому концу 80-ых гг. Если сравнить его со словами Милькеева и собственными переживаниями Леонтьева в Севастопольскую кампанию (середина 1850 — начало 1860 гг.), нельзя не сказать, что концы эстетики Леонтьева совершенно сходятся с ее началами. Именно «концам» суждено было с особой четкостью формулировать воззрение Леонтьева на эстетическое начало, как главного судию мира сего. Это сделано им в двух замечательных письмах. Одно написано к Фуделю в 1888 г., другое — к В. В. Розанову, в августе 1891 г., т.е., за 2 ½ месяца до смерти [75].

V

Оба письма — есть развитие мысли, выраженной Леонтьевым в одном из любопытнейших и малоизвестнейших его сочинений — «Средний европеец, как идеал и орудие всемирного разрушения», начатого еще в 1872 г. на Афоне, продолженного им в 80-ых годах и оставшегося незаконченным.

Идеал, ставимый обычной верой в прогресс, как цель всемирного развития, — идеал Бокля, Спенсера [76], Бастиа, Шлоссера, Прудона [77], — есть «нечто среднее», «этим авторам подобное — европейский буржуа»⁷⁰. Ставить этот идеал целью истории как высший культурно-исторический тип, могут лишь те, кто, «прежде всего не знают и не понимают законов прекрасного» [78]. Объективировать себя самого, как честного труженика и буржуа в общий идеал грядущего ни кабинетный ученый, ни вообще образованный человек среднего положения и скромного образа жизни не должен:

«Это не научно именно потому, что оно не художественно. Эстетическое мерило самое верное, ибо оно единственно общее ко всем обществам, ко всем религиям, ко всем эпохам приложимое. Что полезно всем — мы не знаем и никогда не узнаем. Что у всех прекрасно, изящно и высоко — пора бы обучиться»⁷¹. Столь же ложны, по Леонтьеву, расхожие идеалы славянофильства и обычного национализма: они либо тупо-этнографичны по существу, либо все прослоены моральными чаяниями, предъявляемыми к славянству и России: история не ответит на них, ибо она — «добру и злу внимая равнодушно» [79], допускает лишь один запрос — эстетический, ибо остается целью исторического процесса

⁷⁰ VI, 63.

⁷¹ VI, 62-63.

только одно — искусство исторического деяния, искусство культурно-исторического типа, искусство эпохи. «Эпоха Возрождения» — вот великолепное произведение, какие можно спрашивать у истории-художницы, но исповедывать ее, как кающуюся грешницу, в добре и зле, было бы тщетным занятием: история без своей художественной мастерской — не идет ни в чью исповедальню. Эстетическое — и в истории, как в жизни, — объемлет собою моральное. Эстетика — есть *universum*, который объемлет космическое, природное, человеческое, нравственное, политическое — все.

Нельзя найти более страстного протеста против славянофильства, чем тот, который дан Леонтьевым в его знаменитом, полностью никогда не опубликованном письме-трактате к молодому тогда ученику Ив. Аксакова, И.И. Фуделю. В ответ на его славянофильские чаяния, Леонтьев пишет:

Письмо к Ф<уделю> 6/VII. 88.

Эст<етический> критерий

«<>Настоящий культурно-славянский идеал должен быть скорее эстетического, чем нравственного характера. [Ибо если рассматривать дело с реалистической точки зрения, то... придется согласиться, что эстетические требования осуществимее в жизни, чем моральные]. Надо и для своего народа ждать чего-то такого, чему примеры бывали, а не такого, чего никто не видывал. Можно предполагать, например, что найдется еще где-нибудь такое оригинальное млекопитающее, животное, которое не будет похоже ни на одно из ныне известных, но можно ли вообразить, что у него не будет мозга, печени, сердца и т.д. Нет — нельзя, как нельзя вообразить себе будущее только моральным, — если же мы скажем — эстетическим, то этим мы сказали все: и слово только тут и приставить нельзя. Можно начертить такой приблизительно чертеж:

<u>Мистика</u> (особенно положительная религия)	Критерий <u>только</u> для <u>единоверцев</u> ; ибо нельзя христианина судить и ценить по-мусульмански и наоборот
<u>Этика и политика</u>	Только для человека
Биология (физиология человека, животных и растений, медицина и т.д.)	Для всего органического мира
<u>Физика</u> (то есть химия, механика и т.д.) и <u>эстетика</u>	Для <u>всего</u>

Как же вы будете хоть бы с Оптинской точки зрения судить, например, знакомого Вам турка или буддиста? Что Вам грешно, то ему не грешно, и наоборот... Нельзя уверить себя насильно, что болгарин (особенно объевропеенный) нравственнее и поэтичнее турка, потому что он нам единоверец... Есть истины реальные, от которых не надо притворно и без пользы отворачиваться, раз они открылись уму. Можно сказать, что самый очаровательный мусульманин не получит вечного блаженства, а самый противный серб и болгарин, покаявшись и помолясь, могут его получить, и только. Религии разнообразны и потому исключительны. Практическая мораль одна и ко всем приложима... Итак, мораль есть критерий для всего человечества; то же самое можно сказать и о... политике. Она — для всего человечества. Вы можете, как христианин, знать, что митрополит Филипп святе, я не говорю уж Иоанна Грозного, а хотя бы доброго Алексея Михайловича; но можете ли Вы, оставаясь христианином, разобрать: кто больше угодил Богу (нашему) или дьяволу — Будда или Магомет? Конечно, нет. А их моральную и политическую (историческую) ценность Вам не возбранено разбирать.

Биология еще шире. Питается (по-своему), дышит и растет всякая былинка, и умирает всякая инфузория; и самый святой человек имеет подобные же с ними общие процессы...

Еще шире два последних критерия — общефизический и эстетический. И тот и другой приложимы ко всему, начиная от минерала и до самого всесвятейшего человека. Минерал — весит, разбивается,

плавится, уничтожается и т.д. И великий человек тоже имеет вес, одарен механическими органами, в теле его происходят, как и во всех неорганических веществах, химические процессы и т.д. Это физика. И, с другой стороны, с эстетической, то же самое: красивы, прекрасны и т.п. могут быть одинаково: какой-нибудь кристалл и Александр Македонский, дерево и сидящий под ним аскет и т.д. Разница между физикою и эстетикой, при всей их одинаково всеобъемлющей экстенсивности, та, что как ни премудры и ни удивительны законы физики, но они нам кажутся как бы на своем месте и в уме нашем не приходят в столкновение с законами морали. А в явлениях мировой эстетики есть нечто загадочное, таинственное и как бы досадное потому, что человек, не желающий себя обманывать, видит ясно, до чего часто эстетика с моралью и с видимой житейской пользой обречена вступать в антагонизм и борьбу. Тот, кто старается уверить себя и других, что все неморальное — непрекрасно, и наоборот, конечно, может принести нередко отдельным лицам педагогическую пользу, но едва ли польза эта может быть глубока и широка, ибо поверивший ему вдруг вспомнит, что Юлий Цезарь был гораздо безнравственнее Акакия Акакиевича, и если у вспомнившего эти факты есть эстетическое чувство, то, что же ему делать — коли невозможно отвергнуть, что в Цезаре в тысячи раз больше поэзии, чем в Акакии Акакиевиче и в самом добром и честном из сельских учителей.

Когда эту таинственную, необходимую для полноты жизненного развития, поэзию побеждает утилитарная этика — я негодную, и от того общества, где последнее случается слишком часто, уже не жду ничего!

Эстетика, как критерий, приложима ко всему, начиная от минералов до человека. Она поэтому приложима и к отдельным человеческим обществам и к социологическим, историческим задачам... Надо поэтому ждать, чтобы в будущей России было побольше поэзии, не в смысле писания хороших стихов и романов, а в том смысле, чтобы сама жизнь была достойна хорошего изображения. Эстетика жизни гораздо важнее отраженной эстетики искусства... будет жизнь пышна, будет она богата и разнообразна борьбою сил божественных (религиозных) с силами страстно-эстетическими (демоническими), придут и гениальные отражения в искусстве<>> [80].

«Прекрасное непогрешимо» — как бы дополняет Леонтьев в другом месте это великолепное письмо, — (которому местом могли бы быть самые лучшие страницы «Воли к власти» Ничше) — Есть категорический императив прекрасного. Он выше власти всех других оценок

и велений. <<>Надо ценить прекрасное езде, где мы его думаем видеть, и надо изображать его таким, каким оно нам представляется. Никакой художник не может сказать, не впадая в ложь, что Мирабо не был могуч и обворожителен, что С<ен> Жюст не был интересен, что экспедиция Гарибальди в Сицилию не была исполнена лиризма и поэзии. Это должен сказать и папист, и всякий реакционер, если он желает быть честным в искусстве<>⁷² [81]. Прочтя в рукописи статью В. В. Розанова «Эстетическое понимание истории», являющуюся лучшим до сих пор изложением философии истории К. Н. Леонтьева, он пишет Розанову, отвечая на его вопрошанье, удачно ли название статьи: <<>Вы хотите озаглавить Вашу статью: „Эстетическое воззрение на историю“. Так кажется? Опасаюсь, что очень немногие поймут слово „эстетика“ так серьезно, как мы его с Вами понимаем [82].

Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что в наше время большинство гораздо больше понимает эстетику в природе и в искусстве, чем эстетику в истории и вообще в жизни человеческой. Эстетика природы и эстетика искусства (стихи, картины, романы, театр, музыка) никому не мешают и многих утешают.

Что касается до настоящей эстетики самой жизни, то она связана со столькими опасностями, тягостями и жестокостями, со столькими пораками, что нынешнее боязливое (сравнительно, конечно, с прежним), слабонервное, [малoverующее], телесно само изнеженное и жалостливое (тоже сравнительно с прежним) человечество радо-радешенько видеть всякую эстетику на полотне, подмостках опер и трагедий и на страницах романов, а в действительности — „избави, Боже!“

Мне иногда даже кажется, что по мере расширения круга среднего понимания природы и искусства, круг эстетического понимания истории все сужается и сужается... Вы с полуслова меня поймете.

Я уверен в этом именно вследствие верного выбора Вами заглавия для статьи обо мне. Да, он верен, но невыгоден с практической стороны. По существу, по глубочайшей основе моего образа мыслей это так: „Эстетическое воззрение!“ Но именно такое-то указание на сущность моего взгляда может компрометировать его в глазах нынешних читателей.

Я считаю эстетику мерилом наилучшим для истории и жизни, ибо оно приложимо ко всем векам и ко всем местностям. [Мерило положительной религии, например, приложимо только к самому себе

⁷² VII, 84.

(для спасения индивидуальной души моей за гробом, трансцендентный эгоизм) и вообще к людям, исповедующим ту же религию. Как Вы будете, например, приступать со строго христианским мерилом к жизни современных китайцев и к жизни древних римлян? <>>].

[Не только мерило религиозное, — как выяснено в письме к Фуделю, — но и моральное, стоят несравненно ниже эстетического]. <>>Мерило чисто моральное [тоже] не годится, ибо (во 1-ых) придется предать проклятию большинство полководцев, царей, политиков и даже художников (большую частью художники были развратны, а многие и жестоки); останутся одни „мирные земледельцы“ да какие-нибудь кроткие и честные ученые. Даже некоторые святые, признанные христианскими церквами, не вынесут чисто-этической критики. Например, св. Константин, св. Ирина, св. Кирилл Александрийский, и почти все ветхозаветные святые (которым, однако, велено молиться).

[Это во 1-х. А во 2-х, этическое мировоззрение неизбежно и всегда колеблется между двумя разными моральями: моралью внутренней борьбы (или моралью стремления) и моралью внешнего результата (моралью осуществления) ...

Первая мораль, конечно, менее верна; но зато она ближе и к мистической религии, и к эстетике (победа разума и сердца над гневом и зверством есть также эстетическое явление — моральная эстетика); вторая мораль — гораздо вернее: но ведь это забота об одном лишь внешне-моральном результате и приводит шаг за шагом к тому обще-утилитарному мировоззрению, которое и есть всемирное... смешение, разрушение, вторичное упрощение...] [83]

В эстетическом же мировоззрении все вмести́мо!.. И все религии, и всякая мораль, (даже до некоторой степени и мораль внешнего результата)...

... Все это так... Но, увы! Не только в глазах какой попало публики, но и в глазах многих весьма серьезных, весьма влиятельных, весьма высоко в государстве поставленных людей, слова: «художник», «эстетик», «эстетический взгляд на жизнь», роняют практическую ценность мыслей. Им представляется все это сейчас чем-то вроде излишества, роскоши, искусства для искусства, дессерта какого-то, без которого можно обойтись.

Они никак не могут понять, что только там и государственность сильна, где в жизни еще много разнородной эстетики, что эта видимая

эстетика жизни есть признак внутренней, практической, другими словами — творческой силы.

Вот что я хотел сказать.

В заключение дерзну прибавить несколько «безумных» моих афоризмов:

1) Если видимое разнообразие и ощущаемая интенсивность жизни (т.е. ее эстетика) суть признаки внутренней жизнеспособности человечества, то уменьшение их должно быть признаком устарения человечества и его близкой смерти (на земле).

2) Более или менее удачная повсеместная проповедь христианства должна неизбежно и значительно уменьшить это разнообразие (прогресс же, столь враждебный христианству по основам, сильно вторит ему в этом по внешности, отчасти и подделываясь под него).

3) Итак, и христианская проповедь, и прогресс европейский совокупными усилиями стремятся убить эстетику жизни на земле, т.е. самую жизнь⁷³.

Эстетическому критерию присуще свойство высочайшей объективности и через это всеобщей обязательности, — т.е., другими словами, это — критерий по преимуществу, критерий критериев. Эстетический закон так же обязателен для последователей всех религий, всех философий, всех моральных, политических и социологических учений, как объективны прочие естественно-научные и математические законы. Отказываться верить в истинность эстетического критерия и не признавать факты, добытые при его приложении к миру явлений исторических и общественных, может последовательно лишь тот, кто не верит показаниям научным, добытым с применением теорий Ньютона и Фарадея. «Вот это я называю мировоззрением правдивым, — пишет Леонтьев» — не должен зоолог (положим, при этом рисующий) уверять, что нет уже на свете ни золотых фазанов, ни орлов, ни пантер и красивых полосатых зебров оттого, что он срисовать их не умеет, или считать их неизящными и в самом деле не нужными потому только, что временные заблуждения утилитаризма признали полезными для человечества только мирных и грубоватых скотов: лошадей, коров, ослов, овец и свиней»⁷⁴ [84].

⁷³ К <В. В.> Роз<анову>; 13 авг<уста 18>91 г. Оп<тина> П<устынь>. Стр. 415–419; Р<усский> В<естник>, <1>903, VI.

⁷⁴ VIII, 106.

Религиозные возражения против результатов, добытых применением эстетического мотива к явлениям жизни и истории, незаконны. Эстетический факт и феномен должен оставаться в глазах религиозного сознания таким же фактом, как факт натуральный, как факт из области зоологии, ботаники, минералогии. Можно не включать его в свой религиозный опыт, можно устранять его из сферы своего морального касания, можно психологически отстранять его от себя, — но нельзя его отрицать и подкапывать его основание: алмазное основание эстетического факта так твердо, что никакой моралистический заступ его не возьмет: алмаз тверже железа.

В одном споре с Ив. Аксаковым, в середине 70-ых гг., Леонтьев привел в защиту своего мнения о примате эстетики в области оценок пословицу *quod licet Yovi, non licet bovi* [85], опирая на нее учение об эстетическом иерархизме в истории и жизни. Аксаков попробовал отвести эту пословицу указанием на то, что она языческая, а спорящие — люди христианского сознания. Леонтьев горячо защищал право своей пословицы на всеобщность и обязательность, вне всякой зависимости от мысли других религий.

Вот отрывок его защитительной речи из неизданных его воспоминаний:

«Я так и говорил: „что еще пристало Алкивиаду, Montmorency или Потемкину Таврическому, то вовсе нейдет какому-нибудь Шульцу, Успенскому, Dubois, Labrossee, Lagacaille и т.д.“ Чем же я виноват, что это правда, чем виноват, что это такая же научная истина, такой же эстетический факт, как и то, что жасмин и роза пахнет лучше смазных сапог или шпанских мух! Ученый, который заявил бы как факт, что олень и лев красивее, прекраснее свиньи и вола, не возмутил бы никого; отчего же тот писатель возмутителен, который позволяет себе сказать, что Вронский в „Анне Карениной“ несравненно изящнее и, говоря языком Гомера, богвиднее того профессора, который спорит с братом Левина? [86]

Моя языческая пословица настолько же не противоречит всеобщему христианству, насколько общие физиологические свойства животных, их дыхание, движения и т.д. не противоречат их сравнительной эстетике. И потому христианин, оставаясь христианином, вполне может рассуждать и мыслить вне христианства, за его философскими пределами о сравнительной красоте явлений точно так же, как может он мыслить о сравнительном законоведении или ботанике» [87].

Это писано в 1875 г., вскоре после возвращения с Афона в Россию, но то же повторял Леонтьев и в августе 1891, уже приняв тайное пострижение в Оптиной пустыни, за 3 месяца до смерти. В одном из «безумных» — по его определению — афоризмов, обращенных к Розанову, он продолжает исповедывать свое эстетическое «безумие», утверждая непоколебимость и первородство эстетического воззрения на жизнь: «итак, и христианская проповедь, и прогресс европейский совокупными усилиями стремятся убить эстетику жизни на земле», — «т.е.», с ужасом замечает он: «самую жизнь». Убитая — христианством-ли, утилитарным прогрессом-ли, эстетика жизни есть просто убитая жизнь, — есть всяческая, даже биологическая смерть человечества. Это неоспоримо для него, как факт.

Какую же форму поведения — ему, лично ему, тайному монаху, К. Леонтьеву — предписывает этот факт? Вот она: «Что же делать? Христианству мы должны помогать, даже и в ущерб любимой нами эстетики, из трансцендентного эгоизма, по страху загробного суда, для спасения наших собственных душ, но прогрессу мы должны, где можем, противиться, ибо он одинаково вредит и христианству, и эстетике»⁷⁵.

Эстетическое основание мира непоколебимо.

От эстетики можно отказаться за себя, но от нее нельзя отказаться — за все человечество: отказ от нее за себя — вознаграждается для христианина надеждами на бытие, которое сулит ему «трансцендентный эгоизм», но отказ от эстетики за себя, за весь мир — карается смертью этих всех, гибелью человечества, и потому он преступен. С ним должно и нужно бороться. В господствующих буржуазных теориях прогресса Бокля и Спенсера Леонтьев видел планомерную организацию этого «отказа» от эстетики — и потому вел напряженную борьбу с тем, что он называл «средним европейцем».

6

Борьба за эстетическую доброкачественность истории, как вторичный симптом его биологической и социальной жизненной доброкачественности человечества, — составляет самую основу социологии Леонтьева.

В наши задачи не входит знакомиться со сложными элементами и составными частями этой социологии и в особенности с теми

⁷⁵ Р<усский> В<естник>. 1903, июнь, 419.

практическими, политическими, выводами, которые из нее делает сам Леонтьев. Это — дело специального социологического исследования. Скажу лишь, что, — при этой же и еще большей верности основному эстетическому ядру социологии Леонтьева, практические выводы из нее могли быть и совершенно иными, чем те, которые сделал он сам. Для нас важно обнаружить это — эстетическое ядро леонтьевской социологии. В своем знаменитом исследовании «Византизм и славянство», к которому одинаково несочувственно отнеслись Катков и Ив. Аксаков, Леонтьев сделал опыт изложения своей философско-исторической теории о трех фазах исторического развития, неминуемо постигающих государства, народы и все живое и живущее в мире. Нам нет нужды подробно останавливаться и на этой основной теории Леонтьева. Нам нужно только вспомнить и удержать основные черты этой теории, чтобы установить, что ядром ее является эстетика Леонтьева, а термометром, показанием которого Леонтьев устанавливает социальное и культурное здоровье человечества, является термометр его эстетики.

Напомню теорию Леонтьева в отчетливом изложении В. В. Розанова, которое очень ценил сам Леонтьев. Оно было дано в статье «Европейская культура и наше отношение к ней», затерянной в одном из августовских №№ «Моск<овских> Вед<омостей>» (16/VIII) 1891 г. [88]

Леонтьев, по Розанову, «открыл, что как в природе, так и в истории человечества процессы развития имеют одно течение: восхождение от первоначальной простоты, слитности, к многообразию форм, в одно и то же время отдельных и связанных прочно единством общего типа; далее, непродолжительное стояние на высшей точке этого многообразия форм и, наконец, падение вниз, вторичное и более быстрое нисхождение к прежней слитности, однообразию всей частей. Племя, в котором возникает государственная организация, появляются сословия, расцветает религиозный культ, военные подвиги, наконец, поэзия и философия, вот пример восходящего развития; минеральная масса, слагающаяся в определенные грани, не переступаемые ни для одной частицы вещества, замкнутая в строгой геометрической форме — вот еще восходящее развитие; наконец, сюда же относится последовательное образование из туманного звездного пятна центрального светила и системы планет... Всюду, куда бы ни обратили мы взгляд, будут ли то космические массы, наша земля и населяющие ее организмы, наконец, человеческий дух и его история, везде восхождение жизни, повышение развития, сопровождается распадением прежде слитной массы на своеобразные и обособленные части.

И, наоборот, все в природе, разлагаясь, проходит чрез процесс вторичного смешения частей и упрощения всего сложенья: в гниющем трупe границы органов смешиваются, жидкости разливаются по всему телу, все становится однородною массою, которая, разложившись на элементы свои, сливается, наконец, с окружающею физическою природою; также утрачивает свои грани и твердые углы расплывающийся кристалл, который готов исчезнуть в растворяющей его жидкости; и в солнечной системе, если бы каким-нибудь образом ослабли законы, принудительные удерживающие каждую планету в своей орбите, вскоре бы наступили хаос и смешенье, и простая груда однообразных развалин заменила бы сложный, цветущий разнообразием мир. Наконец, государство, умерев, оставляет на своем месте неустроенную этнографическую массу, столь же простую, лишенную внутренней морфологии, как и та, которая предшествовала его возникновению. Итак, системность внутреннего содержания есть показатель внешней крепости и общего жизненного напряжения во всем, что существует; напротив, возвращение к простоте, начинающееся смешенье элементов, есть симптом его умирания» [89].

«Цветущая сложность» — вот формула Леонтьева для эпох культурного восхождения, эстетика жизни и истории требуют, чтобы содержание, вечно-текущее в жизни и истории, обрело свою форму. Эстетики, как и жизни, нет там, где нет формы.

<<... Форма, — говорит Леонтьев, — вообще есть выражение идеи, заключенной в материи (содержании). Она есть отрицательный момент явления, материя — положительный<>>⁷⁶ [90]. <<...Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающий материи разбегаться. Разрывая узлы этого естественного деспотизма, явление гибнет.

Шарообразная или эллиптическая форма, которую принимает жидкость при некоторых условиях, есть форма, есть деспотизм внутренней идеи<>>⁷⁷ [91]. <<«>Растительная и животная морфология есть так же не что иное, как наука о том, как оливка не смеет стать дубом, как дуб не смеет стать пальмой и т.д.; им с зерна предустановленно иметь такие, а не другие листья, такие, а не другие цветы и плоды<>> [92].

Чем сложнее и многосоставнее, чем многоцветнее и многокрасочнее материал, над которым властвует форма, тем великолепно выразится это владычество: мир формируется в прекрасное, если он многосложен и многоцветен в своем многообразии, подчиняющемся эстетическому закону

⁷⁶ Т. V, 197.

⁷⁷ Т. V, 197.

или власти формы. Многообразие в единстве — вот формула эстетического цветения — будет ли это создание искусства или история, «Божественная комедия» Данте или не-божественная комедия, разыгрываемая человечеством на земле. Верховная задача, — предлежащая политику, социологу или эстетике, — удержать историю, как текущее, на эпохе восхождения, совпадающей со вторым периодом леонтьевской триады: первичная простота — зарождающаяся цветущая сложность — вторичная простота всесмешения. В биологическом переводе это будет звучать: зародышевая простота человека в утробе его жизни роднит его, по неразвитости формы, с множеством зародышей млекопитающихся <так!>; эта зародышевая простота сменяется цветущей сложностью, — великолепной формой, в своем формовом единстве охватывающем цветущую сложность содержания — это человек, это — Гете, Ньютон, Рафаэль; эта цветущая сложность творцов «Фауста», «Начал», «Сикстинской мадонны» сменится вторичною, губительною простотою, которая разрушит всякую форму и сроднит их с дикарем, потом со всяким биологическим истлеваемым, потом с химическим элементом, когда они — Гете, Ньютон, Рафаэль, — лежа в земле, будут последовательно проходить все фазисы вторичного упрощения, которые упростят их до слияния с простейшей химической стихией мира. Человечество, нация, государство — тот же Гете, Ньютон, Рафаэль. Надо задержать их на том высшем взлете неизбежной триады, когда они творят Фауста, создают «Начала», пишут «Мадонну», — а не тогда, когда они живут утробною жизнью во чреве матери, или не тогда особенно, когда они превратятся в химический элемент почвы. Нужно послушаться Гете и мировой истории, — истории народов и государств — воскликнуть в нужный, неповторимый момент: «Остановись, мгновенье: ты прекрасно!» Это — не биологически-зародышевый, не химически-могильный, это эстетически-жизненный момент исторического бытия народов и государств. Древней Элладе в век Перикла, Италии в эпоху Возрождения, Франции — в эпоху Людовика XIV, — крикнуть: «остановись: ты прекрасна!» — вот что хотел бы сделать Леонтьев: «ты — цветешь, ты, как алмаз, переливаешься тысячами искр и огней: остановись! продолжи блистать! удержи Перикла — на агорé, Софокла — в театре Диониса, Рафаэля — в мастерской, Людовика XIV — в Версали, — вот что хотела сделать эстетика Леонтьева, и вот откуда идут холодные и грозные увещания его «реакционной» социологии: останови! удержи! подморозь!

Цветущее — есть сущее. Цветущее — всегда пестро, многолико, многозвучно, многоцветно, сложно, лишь умирающее и мертвое бледно, одноцветно, беззвучно, просто. Признак цветения — есть верный признак жизни: так в биологии, так и в истории, так — везде. Цветущая сложность культуры, государства, расы — есть признак, что мировое здоровье не разрушено, что оно сулит долголетие. Но всякое цветение, даже в природе, одно только и связано с эстетикой. Эстетика и есть цветение мира. Эстетика и есть цветение истории. Если есть где-нибудь цветение в истории — если Колумб открывать Америку [XV <ст.>], Петрарка [XIV ст.] — писать сонеты, Макиавелли — учить политике [XVI ст.], Рафаэль [XVI ст.] — писать мадонну, Леонардо да Винчи — художествовать, летать и мыслить, а папы, кардиналы, князья, горожане, крестьяне — жить, убивать, страдать, мыслить — исходят в одно столетие, из одной небольшой страны, — это и значит, что страна эта цветет, и пышная сложность этого цветения свидетельствует о жизни. Эстетический признак высочайшей жизненной эстетической оформленности исторической эпохи совпадает с показанием биологическим.

Буржуазная Европа 60-70-ых гг., наоборот, являет совсем иную картину. Она — на грани всесмесительного единства химических элементов. «Дуб, сосна, яблоня и тополь недовольны теми отличиями, которые сошлись у них в период цветущего осложнения, и которые придавали столько разнообразия общей картине западного нашего сада, они сообщают о том, что у них есть еще какая-то сдерживающая кора, какие останки обременительных листьев и вредных цветов, и жаждут слиться в одно, всесмешанное и упрощенное средне-пропорциональное дерево» [93].

«Учение Леонтьева о трех фазисах всякого развития, всякой истории, всякого прогресса, взятые им практически из медицинских наблюдений, из фазисов просто „жизни“ и „смерти“ под глазами „мудрого врача“ и перенесенное затем в историю и политику, а вместе с тем осложненное... его безграничной любовью к человечеству, бьющемуся на земле в узах жизни и смерти, — есть корень „всего Леонтьева“, всех его утверждений»⁷⁸. Но этот корень — весь напитан живым и сладким соком эстетики, это — эстетический корень, передающий свои эстетические соки по всем росткам, ветвям и листьям сложного здания философского, исторического и социологического учения Леонтьева. Сам Леонтьев делал

⁷⁸ В. В. Розанов. О Конс<тантине> Леонтьеве. «Н<овое> Вр<емя>», 1917, № от 21/II.

опыт приложения своего учения об исторической триаде к явлениям чисто- и узко-эстетическим — к искусствам пространственным и к искусству слова.

<<>...— Мы заметим то же, — говорит он, — тот же закон тройственности развития, — и в истории искусств: а) период первоначальной простоты [94]: циклопические постройки, конусообразные могилы этрусков (послужившие, вероятно, исходным образцом для куполов и вообще для круглых линий развитой римской архитектуры), избы русских крестьян, дорический ордер и т.д., эпические песни первобытных племен; музыка диких, первоначальная иконопись, лубочные картины и т.д.; б) период цветущей сложности [95]: Парфенон, храм Эфесской Дианы (в котором даже на колоннах были изваяния), Страсбургский, Реймский, Миланский соборы, св. Петра, св. Марка, римские великие здания, Софокл, Шекспир, Дант, Байрон, Рафаэль, Микель-Анджело и т.д.; в) период смещения, перехода во вторичное упрощение [96], упадка, замены другим: все здания переходных эпох, романский стиль (до начала готического и от падения римского), все нынешние утилитарные постройки, казармы, больницы, училища, станции железных дорог и т.д. В цветущие эпохи постройки разнообразны в пределах стиля; нет ни эклектического смешения, ни бездарной старческой простоты. В поэзии тоже: Софокл, Эсхил и Еврипид — все одного стиля; впоследствии все, с одной стороны, смешиваются эклектически и холодно, понижается и падает.

Примером вторичного упрощения всех прежних европейских стилей может служить современный реализм литературного искусства. В нем есть нечто и эклектическое (т.е. смешанное), и приниженное, количественно павшее, плоское. Типические представители великих стилей поэзии все чрезвычайно несходны между собою: у них чрезвычайно много внутреннего содержания, много отличительных признаков, много индивидуальности, в них много того, что принадлежит веку (содержание), и того, что принадлежит им самим, их личности, тому единству духа личного, которое они влагали в разнообразие содержания. Таковы: Дант, Шекспир, Корнель, Расин, Байрон, Вальтер-Скотт, Гете, Шиллер<>> [97].

В настоящее время, [особливо после 48 года,] все смешаннее и сходнее между собою: общий стиль — отсутствие стиля и отсутствие субъективного духа, любви, чувства»⁷⁹ [98]. «...Нынешний объективный, безличный всеобщий реализм есть вторичное смесительное упрощение,

⁷⁹ V, 195.

последовавшее за теплой объективностью Гете, Вальтер-Скотта, Диккенса и прежнего Жорж-Занда, больше ничего»⁸⁰.

Но Леонтьев считал проблему искусства лишь второстепенной в проблеме эстетики: сама жизнь — в ее настоящем (современности) и в ее прошлом (история) является более важной проблемой эстетики. Это основное его убеждение — о примате эстетики жизни над эстетикой искусства — роднит Леонтьева с Ницше и делает его ярким, смелым, беспощадным критиком буржуазной современности по тем же причинам, по каким таким критиком был Ницше. «Я считал волю к красоте, к пребыванию в тождественных формах, средством сохранения и поддержания»⁸¹ [99] — эти слова Ницше могли бы стоять эпиграфом к эстетическим началам социологии и политики у Леонтьева, к его рассуждениям о том, что «цветущая сложность», эстетика жизни, — есть свидетельство «сохранения и поддержания» жизни в организмах индивидуальных и коллективных.

«Культура есть не что иное, как своеобразие», — определяет Леонтьев, — утеря этого своеобразия, цветения, знаменует вступление в третий фазис всеобщего упрощения. Утилитарное цивилизаторство не есть культура. «Надо условиться в терминах, — говорит Леонтьев, — и для меня в этом смысле, — в смысле наличия жизненно-цветного своеобразия, и многосложной цветущей жизни, — Китай культурнее Бельгии, индусы культурнее северо-американцев»⁸² [100]. Иными словами, бельгийское или американское утилитарное безликое и смешительное цивилизаторство вовсе не есть культура. Леонтьев много раз варьирует эту мысль. А она есть совершенно та же, что, несравненно позднее высказанная, мысль Ницше: «Культура contra цивилизация. Высшие точки подъема культуры и цивилизации не совпадают: не следует обманываться в глубочайшем антагонизме между культурой и цивилизацией... Цивилизация желает чего-то другого, чем культура — быть может, даже чего-то прямо противоположного»⁸³ [101]. Через много лет после Ницше и еще через большее число лет после Леонтьева, мысль эта казалась новой у Шпенглера.

Успешное утилитарно-техническое цивилизаторство буржуазной Европы XX ст. в глазах Леонтьева не может заменить ее культурного

⁸⁰ V, 195.

⁸¹ IX, 177.

⁸² V, 387.

⁸³ IX, 76.

увядания: никакое искусственное химическое удобрение цивилизации не возрастит прекрасных цветов культуры, если все усилия семеноводов направлены на то, чтобы создать некое едино-средне-арифметическое семя какого-то общерастения, вместо того, чтобы культивировать, наоборот, семена разноразовых роз, других растений и злаков. Буржуазная Европа не выдерживает суда самой снисходительной эстетической цензуры. Этим самым она показывает, что ее век — сочен: то, что не цветет — умирает.

<<>...Цель всего, — говорит Леонтьев, — средний человек, буржуа, спокойный среди миллионов точно таких же средних людей, тоже покойных<>>⁸⁴ [102].

<<>...Господство же среднего класса есть также упрощение и смешение; ибо он по существу своему стремится все свести к общему типу так называемого „буржуа“, — восклицает он, — «чтобы дойти скорее до этого среднего человека, которого прежде всего выработал<>>⁸⁵ [103]. В страстной ненависти, в величайшем эстетическом и всяческом неприятии европейского буржуа XIX ст. у Леонтьева есть один равный — это горячо любимый им Герцен.

Герцен

<<>Со стороны исторической и внешнежизненной эстетики я чувствовал себя несравненно ближе к Герцену, чем к настоящим славянофилам, признается тот в 1888 г. — Я говорю о Герцене, который издевался над буржуазностью и прозой новейшей Европы. Читая только Хомякова, Аксакова, в голову бы не пришло ненавидеть всесветную буржуазию. Герцен же издевался прямо над этим общим и подавляющим типом человеческого развития. И последую за ним по сродству „природы“, я придумал позднее и выражение „средний человек“, „средний европеец“ и т.д.<>>⁸⁶ [104]. <<>Отклониться, по возможности, от того пути, который ведет к размножению этих средних людей и к господству их; сохранить (а если можно, то и создать) наиболее разнообразные пути для развития человеческого: вот о чем я мечтал тогда для России<>>⁸⁷ [105] и т.д. О России [106].

⁸⁴ V, 226.

⁸⁵ V, 235.

⁸⁶ VI, 336.

⁸⁷ VI, 336.

<<>Характер трагического в жизни народа в высшей степени важен<>> [107]. «Плоский унисон» жизни противен природе, у которой его нет. <<>Необходимы страдания и широкое поле борьбы! На что тогда великие полководцы, глубокие дипломаты? Поэту не о чем будет писать; ваятель тогда будет только сочинять украшения для статуй железной дороги или лепить столбики для газовых фонарей<>>⁸⁸ [108].

Эстетическая телеология у Леонтьева

<<>Человек, высекая из камня или выливая из бронзы (из материи) статую человека, вытачивая из слоновой кости шар, склеивая и сшивая из лоскутков искусственный цветок, влагает извне в материю свою идею, подкарауленную им у природы<>>⁸⁹ [109].

<<>Нет сомнения, и эстетика будет со временем довольно точною наукою; но для этого она должна исходить из антропологического начала, изучать, с одной стороны, психологические законы творчества, с другой — законы наслаждения вообще. А пока нельзя не удовлетвориться глазомером и отчасти верой в собственный вкус. И здесь тело, физика, является подножием или орудием духовного мира. Подобно тому, как гнев действует на печень, от страха подгибаются ноги и, по уверению многих, волосы встают дыбом, как кровь приливает к лицу от самолюбивого волнения, так и при наслаждении самой отвлеченной от жизни красотой (напр., красотой философской системы) может мороз пробегать по коже<>>⁹⁰ [110].

<<>искусство у народа это именно то, что переживает в вечной славе его самого. Для того, кто не считает блаженство и абсолютную правду назначением человечества на земле, нет ничего ужасного в мысли, что миллионы русских людей должны были прожить целые века под давлением трех атмосфер — чиновничьей, помещичьей и церковной, хотя бы для того, чтобы Пушкин мог написать Онегина и Годунова, чтобы построился Кремль и его соборы<>>⁹¹ [111].

⁸⁸ I, 413.

⁸⁹ Т. V, 198.

⁹⁰ VIII, 25-6.

⁹¹ VII, 76-77.

Письмо к Фуделю 6/VII. 88.

<<У Данилевского есть прекрасное глубокое замечание о том, что „красота есть духовная сторона материи“. Хотя и „культура“, и „государство“ есть понятия как бы отвлеченные, но в действительности отвлечениям этим соответствует известная совокупность весьма реальных явлений, доступных нашим чувствам: очень большое общество людей, города, села, здания, семейные картины, придворные обычаи, богослужение, междоусобия, войны, литературные произведения, одежды, изречения, замечательные людские характеры, подвиги, страдания, добродетели и низости и т.д. Все эти явления более или менее вещественны, и культура тогда высока и влиятельна. Когда в этой развертывающейся пред нами исторической картине — много красоты, поэзии. Основной же общий закон красоты есть, как известно, разнообразие в единстве<>> [112].

<<Жизнь есть вечная проблема, история тоже, вот и все. К сложению то и дело прибавляются новые цифры<>>⁹².

Италия

<<Италия еще в 1-ой половине этого века славилась и своеобразием и разнообразием своим. Близкая по племенному составу и языку к Франции и Испании, она весьма резко отличалась от них законами, духом, нравами, обычаями и т.п. Добродушная патриархальность и дикая жестокость; беспорядок и поэзия; наивность и лукавство; пламенная набожность и тонкий разврат; глубокая старина и вспышки крайне революционного духа. Все это сочеталось тогда в жизни разединенной и отчасти поработанной Италии самым оригинальным образом. И кого же она тогда не вдохновляла? Байрон, гениальным инстинктом прозревший грядущее (демократическое) опошление более цивилизованных стран Европы, бежал из них в запущенные сады Испании, Италии и Турции. — Там ему дышалось легко! О Франции он совсем почти не писал, и сколько помнится, не был в ней; Англию ненавидел; на Германию тоже мало обращал внимания. Самое лучшее и самое самобытное и зрелое его произведение Чайльд-Гарольд — все наполнено картинами этих одичалых южных стран. Гёте Италии обязан

⁹² Flaubert, Corresp. III, 87–88.

„Римскими элегиями“ и знаменитым характером „Миньоны“, Пушкин мечтал об Италии и писал о ней... „Рим“ Гоголя вам, конечно, известен⁹³.

Самая отсталость Италии, полудикость ее восхищала многих. Прочтите у Герцена об Италии; у Герцена все, что касается политики — бредни; но все, что касается жизни — прекрасно. Все были согласны, что Италия не сера, не буржуазна, не обыкновенна, не пошла. Все путешественники восхищались разнообразием не только природы ее, но и жизни, быта, характеров. За Альпами начинался для англичан, французов, русских, немцев какой-то волшебный мир, какая-то прелестная разнородная панорама от Ломбардии до Рима и Сицилии. Говорят, даже — экипажи, способы сообщения, упряжь — все было в то время разное. При этом Италия тогда была сравнительно бедна. Не было железных дорог, гостиницы были плохи; разбой, лень на юге и т.д. Но все эти недостатки были необъяснимы и неразрывным образом сопряжены с теми именно привлекательными чертами, которые составляли отличительные признаки итальянской самобытности (культурной, бытовой, эстетической). Искусства замечательного уже давно не было в Италии (за исключением музыки), пластика отражений в духе самих итальянцев иззябла, но пластика жизни зато вдохновляла иностранцев. Вот это настоящий обмен духовный, возможный только для сильной разнородности! (Теперь она — „мещанин во дворянстве“, „освобождение Италии“ — сказалось лишь «в опошлении тех самых картин духовно-пластических, на которых так блаженно и восторженно отдыхали вдохновленные» умы ост<альной> Европы<»⁹⁴ [113].

Сред<ний> ч<елове>к

<<...Культура есть не что иное, как своеобразие, а своеобразие ныне почти везде гибнет преимущественно от политической свободы<>⁹⁵ [114].

<<>Такую систему отвлеченных идей, и бессознательно в жизни живущих, и сознательно в жизнь проводимых, и из нее в область дальнейшей мысли извлекаемых, я зову культурой. Надо уговориться в терминах, чтоб понимать друг друга, и для меня в этом смысле Китай культурнее Бельгии; индусы культурнее северо-американцев; русский

⁹³ Упом<инаются> Ж. Занд, Мюссе, Ламартин.

⁹⁴ VI, 158–160.

⁹⁵ V, 147.

старовер или даже скопец гораздо культурнее русского народного учителя по „книжке барона Корфа“<>⁹⁶ [115].

Зло и красота

«Одиссей» [116]

Пришел красавец турок злодей убийца христиан. Ашенбрехер:

И-скусс>тво и жизнь. О реализме.

<<>Прудон-искусство. «Du principe de l'art». Он проповедует отвержение идеала в искусстве и господство идеи, т.е. реализм. Пусть так: но когда жизнь идеальна, тогда и реализм прекрасен. Например, битва Айвенго с Vois Gilber'ом у В. Скотта и ссора Ив<ана> Ив<ановича> с Ив<аном> Ник<ифоровичем> у Гоголя. И то и другое реально в искусстве, но разница в жизни огромная<>⁹⁷ [117].

«Ослабеют все проявления героического, живописного, трагического, демонического в жизни общества, — изсякнут мало-по-малу в ней и все религиозные, и даже все государственно-практические силы, разве за исключением одной — индустриального утилитаризма (весьма вдобавок обманчивого)<>⁹⁸ [118].

Реализм.

<<>Живописцы наши выбирают всегда что-нибудь пьяное, больное, дурнолицое, бедное и грубое из нашей русской жизни... Реализм истинный есть правда жизни; реализм односторонний и каррикатурный есть низкая ложь в области искусства... Мы уж нынче не смеем просить идеализации, мы просим только правды. Мы не решаемся уже требовать от искусства, чтоб оно возносилось выше жизни (хотя бы и не забывая ее вполне, нет, мы умоляем только не быть ниже, не быть пошлее, грубее, глупее, пустее действительности<>⁹⁹ [119].

NB. <<>Они ставят идеалом будущего нечто самим себе подобное, — европейского буржуа. Эти люди, — Бокль, Шлоссер, Прудон,

⁹⁶ V, 387.

⁹⁷ VII, 536.

⁹⁸ VI, 283–4.

⁹⁹ VIII, 72–3.

Бастиа, прежде всего не знают и не понимают законов прекрасного, ибо всегда и везде именно этот средний тип [120] менее эстетичен, менее выразителен, менее интенсивно (т.е. высоко) и экстенсивно (т.е. широко) прекрасен, менее героичен, чем типы более сложные или более односторонне крайние<»>¹⁰⁰ [121].

Леонтьева радуется, что Герцен, сходится с ним в одном наблюдении, по которому как *ex ungue leonem* [122], можно определить эстетическую и неизменную ценность современного буржуа. <»>Французское дворянство было в свое время образцом изящества и блеска; французский буржуа есть нынче образец пошлости, грубоватости или изломанности и дурных манер (физически даже очень дурных). Герцен [123] справедливо заметил, что даже лица у этих буржуа все какие-то некрасивые и ничтожные...<»>¹⁰¹ [124].

Эстетическое нищенство буржуазной Европы, ее пошлый стиль без-стилия, убожество эстетических форм ее жизни — есть верный признак ее жизненного убожества, ее отцвѣта: то, что перестало цвести, то скоро усохнет и превратится в наземный сор. Пусть еще существует в такой Европе — искусство, — где есть еще место эстетике: жизнь, скудеющая эстетическим цветением, скоро угаснет и отраженный свет искусства.

<»>Поверьте мне, — пишет Леонтьев Фету, — и эстетика столь ценных этих отражений в стихах, на полотне, в бронзе и мраморе, — и она не устоит надолго, — если в самой пластической стороне жизни не будет больше идеализма.

Поверьте, это не пустяки — эта внешность; это очень важно! Эта внешность — есть выражение еще неясно понятого какого-нибудь внутреннего психического закона.

Каждый новый век... вносит новый стиль одежды и обычаев; и этот общий стиль... держался до нового века и до утверждения надолго нового духа. Неужели один только XX, уже наступающий, век будет исключением, и черный фрак, пиджак, сюртук, цилиндр и панталоны лягут в могилу вместе с последним образованным человеком на земном шаре? Это было бы очень грустно, если бы было правдоподобным. Не будет нового внешнего стиля в жизни, — значит, не будет уже никогда и нового духа; а останется на веки веков все тот же всепожирающий, всеравняющий, буржуазный... Или [если] гибель человечества, общее

¹⁰⁰ VI, 62.

¹⁰¹ V, 432.

вымирание его [125], или последняя всеземная катастрофа так уж близки, что некогда и духу новому созреть, и людям, начавшим свою земную карьеру в детской простоте звериных шкур и фиговых листьев, — придется кончить в старческой упрощенности фраков и пиджаков?<>¹⁰² [126].

Эстетика жизни есть вернейший показатель жизненности и мощности этой самой жизни: то, что социально-сильно, то, что культурно-могуче, не может не быть высоко и по своей жизненной эстетике. <>...Высшая [127] эстетика есть в то же самое время и самая социальная и политическая практика. В истории именно те эпохи отличались наибольшей государственной силой и наилучшей социальной статикой, в которой и общественный строй отличался наибольшим разнообразием в наисильнейшем единстве, и характеры человеческие в эти именно эпохи вырабатывались сильные и разнообразные, или с односторонне выразительным, или с наипышнейшим, многосторонним содержанием. Таковы эпохи Людовика IV, Карла V, Елизаветы и Георга III в Англии; Екатерины II и Николая I у нас <>¹⁰³ [128].

<>О, тучная, усуренная кровью, но живописная гора всемирной истории! (С конца прошлого века ты мучаешься новыми родами). Из страдальческих недр твоих выползает мышь! Родается самодовольная карриатура (на прежних людей): средний рациональный европеец, в своей смешной одежде, неизобразимой даже в идеальном зеркале искусства; с умом мелким и самообольщенным, со своей ползучей по праху земному, практической благонамеренностью!<>¹⁰⁴ [129].

Если нет эстетического оправдания истории и оправдать труды и муки человечества предоставлено европейскому буржуа, то нужно говорить о срыве всемирной истории, о ее гибели — в комическом и пошлом. <>Не ужасно ли и не обидно ли (было бы) думать, — восклицает Леонтьев — что Моисей входил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели Пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арабеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической одежде благодушествовал

¹⁰² VII, 491-2. Фету. <18>89 г.

¹⁰³ VI, 64.

¹⁰⁴ VI, <268->269.

бы „индивидуально“ или „коллективно“ на развалинах всего этого прошлого величия?<>> [130].

7

Россия

Если буржуазная Европа есть завершение всемирной истории, если ее утилитарное буржуазное цивилизаторство есть верховный и окончательный результат всемирно-исторического процесса, то самый этот процесс бессмыслен, самое это завершение — есть провал всемирной истории, есть фарсовый эпилог к грозной трагедии. Ужасом, радостным ужасом Герцена, веет от восклицания-обращения Леонтьева.

С этим фарсовым эпилогом трагедии всемирной истории, бездарно, но убежденно разыгрываемым европейским буржуа, Леонтьев, подобно Герцену, не хотел и не мог примириться, и искал выхода и разрушения там же, где Герцен, подобно Герцену, он хотел, чтобы в эпилоге появился русский народ и, прогнав со сцены истории фарсовых актеров, или указал им соответствующие места простых статистов, завершил бы мировую трагедию достойным, эстетически приемлемым, эпилогом.

Россия — и тем более славянство — вовсе не являли в глазах Леонтьева тех стройных и прекрасных образцов «цветущей сложности», которые он наблюдал в известные эпохи в отдельных странах Запада. Еще в 1876 г. он писал, говоря о высшем, что дала Россия, — о русской литературе: «Действительно, если взять Россию сравнительно с нациями Запада [131], то видишь, что явления сложного цветения у нас были гораздо слабее и бледнее, чем в главных пяти-шести политических организациях Европы. Разносторонний Гете [132] резче и всемирнее по содержанию разностороннего Пушкина. Равные по прелести формы <<Фауст>> и <<Годунов>> далеко неравны по всемирному значению содержания. Демон Лермонтова менее страшен и менее широк в своем величии, чем демон Байрона; он более примирим с жизнью, его утешает, например, „с резными ставнями окно“»¹⁰⁵ [133].

Современная ему Россия не может противопоставлять себя Западу — только то, что цветет, может противопоставлять себя отцветающему. В русской жизни 60–70-ых гг. и Леонтьеву, по его словам,

¹⁰⁵ Т. V, 297.

слышится «плоский унисон» вместо пышного многообразного единства контрапункта.

Больше чем кому либо, Леонтьеву, чужда канонизация России, — народная ли, как у славянофилов и народников, официальная ли, как у Каткова и Победоносцева. Он с резкостью пишет в неизданном письме к Фету в конце 80-х гг.

[Россия. Фету]

<<«Не пороки несносные наши я люблю; я желаю форм изящных жизни русской и высоких идей в основе этих проявлений. А лень, равнодушие и еще более безпечность нашу я терпеть не могу»>¹⁰⁶ [134].

В мечтаниях об основах для построения этих «изящных форм» русского культурного и государственного бытия, Леонтьев приемлет и учение Данилевского об особом культурном типе русско-славянском, которому еще надлежит быть в истории, и ищет средств — эстетических, моральных, политических, чтобы содействовать новой эре «изящных форм» русского бытия, в этих же мечтах он пытается передвинуть центр русского государства с холодного, бедного и бледного Севера на теплый, богатый и пышный юг — в Царьград [135]. Ему кажется, что семена русского культурного своеобразия усилятся и сильнее прорастут в древней прекрасной почве Греции и Византии, чем в скудном белозёме Москвы и болотах Петербурга, что «цветущая сложность» русской культуры суждена на берегах Босфора, а не Балтийского моря.

<<«На почве новой и гораздо более нам сродной, чем жалкая почва Балтийских берегов, — русскому уму откроется новый простор, новые кругозоры, — надеется Леонтьев, — тусклое „окно в Европу“» [136], которое, к сожалению, так хорошо воспел Пушкин (потому что ему самому смолоду жилось хорошо и весело у этого окна), тогда потемнеет и обратится в простой, торговый „васисдас“»¹⁰⁷ [137].

<<«Петербургская Россия, — говорит Л<еонтьев>, — эта мещанская современная Европа, сама трещит везде по швам, и внимательно разумеющее ухо слышит этот многозначительный треск ежеминутно и понимает его ужасное значение!»>¹⁰⁸ [138].

¹⁰⁶ II/VII. 88; О<птина> п<устынь>.

¹⁰⁷ VI, 88.

¹⁰⁸ VII, 199.

Константинополь и Босфор нужны Леонтьеву для эстетического выхода России из петербургского тупика в прекрасное море новой культуры и вечной красоты. Пусть этот выход потребует войны или даже, как предвидит Леонтьев, целой эпохи войн — это не остановит его: «Характер трагического в жизни народа в высшей степени важен» [139]. Леонтьев отлично знает — «трагическое» есть лучший страж «прекрасного». Россия должна войти в Царьград, — это убеждение крепко: но и тут Леонтьева останавливает вопрос, столь неизбежный и последовательный в его устах: а какие эстетические права на это есть у России? Войти в Константинополь значит войти в Св. Софию. И тут-то раздумье охватывает Леонтьева.

София и Рос<сия>

<<...Храм св. Софии — это сокровище двоякое: это святыня веры и это перл искусства. Только русские художники могут взяться за это дело, не спеша и зрело обдумав его.

Иначе наш вандализм был-бы гораздо хуже турецкого. Турки замазали очень грубо иконы из своих религиозных соображений; по нерадению позволили обезобразить и стены, вырывая кусками прекрасную мозаику, покрывавшую их, [удалили из храма все те украшения и всю ту утварь, которые составляли необходимую принадлежность православного святилища,] снаружи окружили здание грубыми минаретами и тяжелыми некрасивыми позднейшими пристройками; но все это исправимо... А если мы раз навсегда, торопясь лишь освятить храм, испортим его навсегда...»¹⁰⁹ [140].

Леонтьев в раздумьи останавливается, и спрашивает затем: «то не будут ли [тогда] хоть немного правы те, которые утверждают, что мы нация — умеющая вести героические, блистательные войны... но что в области разума и фантазии мы способны только рабски подражать или Западу, или много-много своей собственной старине, да и то изредка и не всегда удачно»¹¹⁰ [141].

В пламенной мечте о возможности цветения русской культуры, Леонтьев измышлял свою политику, как прикладную эстетику. Что это было именно так, — явствует хотя бы из одного замечательного, неизданного письма Леонтьева к Фету, писанного 1/IX 1889 г. из Оптиной

¹⁰⁹ Т. V, 343.

¹¹⁰ V, 343–4.

пустыни. Леонтьев узнал, что Александр III прочел его статью, написанную по поводу юбилея Фета, в которой было немало острых выпадов против буржуазного безобразия XIX в. Этого было достаточно, чтобы у Леонтьева появилась мысль о возможности эстетических реформ, идущих сверху, от царя. Он пишет Фету огромное письмо, убеждая его тем или иным путем довести это письмо до сведения самого императора. Первым интересом, проявленным императором до писаний Леонтьева, он стремится воспользоваться не для того, чтобы представить императору свои политические и социальные идеи с надеждою повлиять ими на того, от кого так много зависит их воплощение в жизнь. Он стремится воспользоваться правом слова пред императором лишь для того, чтобы побудить его на первый шаг не к социал<ьной> или пол<итической>, а к эстетической реформе в России, — к реформе одежды, — столь ненавистной ему одежды буржуазного европейца. Надо начать эстетическую реформу быта, — и Леонтьев верит, что приказом царя можно осуществить преобразование эстетики русского быта.

1889 г. 1 сент<ября>. О<птина> П<устынь>. <«>Для меня, — пишет он Фету в ответ на его соображение, как довести письмо Леонтьева до государя, дело [не в пути, а] в некоторой, непростительной в мои годы, мечте о впечатлении на того, от кого внешние формы была нашего зависят уж конечно, вполне! Гораздо более, напр., чем сама внешняя политика... Стоит только государю, через все министерства объявить всем штатским служащим, что отныне им дается право ходить на службу и вне службы — по выбору в европейской или в русской одежде (даже и рубашку навывпуск), так, готов пари держать, что $\frac{3}{4}$ оденутся по-русски... Ну, а Двор уж совершенно в руках государя». И Леонтьев пытается уверить делового Фета в важности предлагаемой им реформы:

«И в России, и в Турции я пришел к тому эстетическому, очень важному заключению, что все возможные, не-европейские одежды — и на богатам и на нищем одинаково лучше и благороднее европейских.

Восточная одежда богатая — конечно не то, что фрак и даже не то, что наш обще-генеральский мундир. А насчет нищих и оборванных людей, то всякий кто не слеп, понимает, что нищий в турецких шальварах и нищий в лаптях и зипуне производит вовсе не то ужасное впечатление, какое производит нищий в сальном и оборванном пиджаке. Здесь в Оптиной, я каждый <день> вижу образцы и того и другого рода. Разница поразительная!

Вот и об „искусстве“, о живописи мы тоже печемся, хотим, чтобы живопись процветала, а забываем то, что европейские формы внешнего быта сделали хорошие картины из жизни современного образованного общества почти невозможными! Художники при всей необразованности своей инстинктом чувствуют, что недостаточно одной психичности („души“) в выражении лиц и в движении вообще; — нужна эта „душа“, нужна „идея“ и в одежде. Недавно я из окна смотрел здесь на крестный ход — и опять тоже! Вообразил себе картину на полотне вместо этой живой — и что же? Только служащее духовенство в цветных облачениях: монахов не служащих в широкой драпировке черных ряс, да еще деревенских разноцветных девок — и можно бы было изобразить. Несколько дворян и большую часть козельских мещан, — которые тоже шли, необходимо бы было согнать с полотна, чтобы самая превосходная кисть не была бы омерзена пошлой действительностью. Надо покровительствовать прекрасному в искусстве; но еще лучше покровительствовать изящному и красивому в жизни, когда это безвредно. Искусство само уже отзовется на впечатления жизни. Жизнь важнее; — ибо раз в ней есть поэзия, — отражения сами собою рано или поздно появятся<>> [142].

В сущности, все практические выводы прикладной эстетики Леонтьева, которую он искренно считал за политику, немногим разнятся от этого его проэкта, к осуществлению которого он привлек немало видных лиц и на который смотрел как на важное дело. И реальная возможность их осуществления, в конце концов, стала столь же сомнительным даже для него самого, как и осуществление указанного проэкта. Все эти надежды и мечты его практической эстетики рушились одна за другою на его глазах. В начале 90-ых гг. он уже перестал их и создавать. Ему осталось сознание, что как бы ни удалялась действительная русская и современная политика 80–90-ых гг. от его идеалов практической эстетики, от его призывов к культуре вместо цивилизации, — эти идеалы, эти призывы — пусть идущие мимо данных, наличных действующих сил истории, — остаются истинными и неколебимыми.

<<>Но как бы то ни было, — пишет Л<еонтьев> в одном из писем 1890 г., — будет ли новый культурный тип или нет, славяне ли с непривычки как-нибудь нечаянно с действительно новой, неевропейской и нелиберальной культурой в одно утро проснутся, или они, попытавши чуточку сделать что-то свое, плачевное и половинное, после взятия Царьграда, лопнут, как мыльный пузырь, и распустятся немного позднее других все в той же ненавистной всеевропейской буржуазии,

а потом будут (туда и дорога) пожраны китайским нашествием, и т.д., и т.д. — во всяком случае про Данилевского можно сказать, что он сделал великий шаг — указанием на эти культурные типы. Можно ведь и так его теорию обернуть: существование разных культурных типов есть признак жизненности человечества; невозможность создать новый, смешенье всех типов в один средний — есть признак приближения человечества к смерти<>>¹¹¹ [143].

Законам исторической эстетики можно противиться так же, как законам физики и химии, но от этого они не перестанут быть истинными. Если цветение прекратится во всем человечестве, и культура, как исторический сад этого цветения, сменится искусственно выровненным скучным полем утилитарной цивилизации, — это будет знак, что человечеству суждена близкая гибель: не цвести может лишь то растение, которое засыхает. Если цветения не может быть на одной почве, возделываемой определенным способом, оно, может быть, окажется еще возможным на другой почве, возделываемой иначе — иными орудиями и приемами. «Вы не хотите цвести и делать все, что нужно, для цветения, как бы говорит Леонтьев народам и государствам, вы не хотите обрабатывать почву так, как надо, чтобы это цветение было возможно? Это ваше дело. У вас и прекратится цветение. Но, быть может, другие сменят вас — и цветение будет возможно, — еще возможно, пока есть еще на земле ростки у древа жизни: «К. Н. Леонтьев имел своеобразную социалистическую окраску» — говорит в одной из своих статей знаток дела, лично знавший Леонтьева, Лев Тихомиров¹¹² [144]. Тихомиров прав. Последние годы жизни Леонтьева отмечены большим интересом к социализму. Он изучает Луи Блана, Прудона, Лассаля, Маркса. Результаты этого изучения должны были войти в неизданную — за смертью — последнюю часть его работы о среднем европейце, — т.е. о буржуазном европейце. Но и по тем отрывкам, заметкам и обмолвкам, которые рассеяны в его переписке, мы можем судить о том, почему Лев Тихомиров увидел в Леонтьеве последних лет «социалистическую окраску» [145]: Леонтьев ждал, что социализм, своеобразно преломляясь с исконными культурно-историческими началами европейских государств и прежде всего — России, быть может, явит еще в истории новую смежную почву, иначе, чем в буржуазной Европе, возделанную и обработанную, на ко-

¹¹¹ Александрову, 3/V, <18>90. О<птина> П<устынь>; Письмо к Ал<ександрову>, стр. 96.

¹¹² Л. Тихомиров. Славянофилы и западники в современных отголосках. Р<усское> О<бозрение>, 1892, X, 917.

торой еще возможно будет некое цветение, — некая новая эстетика цветущей сложности.

О социализме

Одному видному русскому дипломату Леонтьев писал в 1889 г. из Оптиной пустыни:

«Я того мнения, что социализм в XX и XXI веке начнет на почве государственно-экономической играть ту роль, которую играло христианство на почве религиозно-государственной тогда, когда оно начинало торжествовать.

Теперь социализм еще находится в периоде мучеников и первых общин, там и сям разбросанных, найдется и для него свой Константин... Иначе (если социализм не будет в силах создать попеременным путем — и крови, и мирных реформ... новую разнородность развития, другими словами, если он не может положить предел распространению Перипандопуло, Троянских, Сади-Карно, Базилио и т.д. [это все имена крупных и малых европейских международных буржуа, до президента французской республики включительно, —], иначе близится конец всему<>>¹¹³ [146].

Для Леонтьева писать так в интимнейшем письме о социализме — была прямая последовательность.

Если социализм поймет закон всемирного цветения и сумеет создать те условия обработки и удобрения, которые нужны для цветущих садов культуры, — он будет долготелен и непобедим, ибо у кого цветение — у того жизнь. Эстетический факт самого цветения есть оправдание всемирно исторических путей. Им была оправдана железная империя Рима, им была оправдана пестрая республиканская Эллада, им была оправдана шумная, деспотическая и свободная Италия эпохи Возрождения, — им может быть оправдан и социализм. Того потребует властная и неумолимая эстетика жизни.

Рыцарь без страха и упрека эстетического понимания истории — православный и монархический Леонтьев не усомнился сделать этот последний вывод. На этом остановилась его мысль, как и его жизнь.

¹¹³ 15/III. <18>89 г. О<птина> П<устынь>; Р<усское> Об<озрение>, <18>97, V, стр. 400–1.

Сведу концы с началами. Эстетики Леонтьева нет, — если искать у него эстетики, которой обычно занимаются в школах, музеях и книгах, — или она у него есть в такой мере, в какой ее нет ни у кого. С какой радостью прочел бы Леонтьев исповедание Флобера:

<<>Эстетика есть истина. При условии известного умственного развития и наличия метода, руководствуясь ею ошибиться нельзя: действительность к идеалу не подлаживается, но его подтверждает<>>¹¹⁴ [147].

Это было и его собственное исповедание.

А на возражения и упреки философов в том, что у него нет философской эстетики, что ему чуждо все, что, как объект, и метод, присуще всем системам эстетики, он мог бы отвечать словами Ницше, сказанными уже тогда, когда все домыслы, мысли и идеи Леонтьева были измышлены, выстраданы и запечатлены. «История философии — это скрытая ярость против основных предпосылок жизни, против чувств, ценности жизни, против всего, что становится на сторону жизни. Философы никогда не останавливались перед утверждением какого-либо мира, раз только этот мир противоречит данному миру и дает указание для осуждения этого мира... Они верили в моральные «истины», в них всегда находили высшие ценности — что же им оставалось более, как только по мере того как они постигали бытие в той же мере говорить ему «нет»! Ибо это существование неморально. И эта жизнь покоится на неморальных предпосылках: и всякая мораль отрицает жизнь»¹¹⁵ [148]. Леонтьев говорил — всестороннее, всеобъемлющее — Да! жизни. Он нес утверждение жизни — священный трепет перед прекрасным-шумящим «древом жизни», и оттого его эстетика есть утверждение жизни, и оттого — это — эстетика жизни, а не эстетика отраженной жизни — в искусстве и познании.

Леонтьев сделал жизнь и историю эстетической проблемой. Много это или мало — суждения об этом могут быть бесконечны, но то, что он это сделал — бесспорно и неопровержимо.

Февраль н/с 18, 20, 21, 22, 23. 1927 г.

С. Дурылин.

¹¹⁴ Flaubert. Correspondence, т. 1, р. XVII.

¹¹⁵ IX, 210.

Примечания

1. Леонтьев — писатель в значительной части не только не прочтенный, но и не разрезанный еще читателем — Ср. в письме Леонтьева Филиппову от 27 апреля 1889 г.: «Что толку мне в том, что *через 5-10-15 лет* большинство начинает говорить и делать то, что я говорил, — ни один не помянет меня, и я сам знаю, что они правы не помяная, ибо, *не меня они изучая* — ждали только времени из боязни или других практических соображений, чтобы дальше развить мою мысль; вовсе нет, я был не наставником, а только вечно не признанным и вечно не читанным даже пророком» (Пророки византизма. Переписка К. Н. Леонтьева и Т. И. Филиппова / Сост. О. Л. Фетисенко. СПб., 2012. С. 538; (далее сокращенно: *Пророки византизма*).

2. «*Существующее — 9-томное собрание сочинений Леонтьева не доведено до конца*» — С. Н. Дурылин так прокомментировал судьбу фуделевского издания К. Н. Леонтьева: «До 1914 года вышло благополучно 9 томов этого издания. 10-ый том был уже набран, когда разразилась империалистическая война, печатание 10-го тома остановилось, так как на все издания фирмы „Культура“, в которую перешло право издания от В. М. Саблина, был наложен арест, на том основании, что это — фирма немецкая. „Арест“ „собрания сочинений К. Леонтьева“ сняла только революция, но 10-ый том в свет уже не вышел» (Дурылин С. Н. Комментарии / Леонтьев К. Н. Моя литературная судьба // Литературное наследство. 1935. № 22–24. С. 471).

3. ...«*Метафизику*“ Хемницера»... — речь идет о басне И. И. Хемницера (1745–1784) «Метафизик».

4. ...«*Faut d’la vertu, pas trop n’en faut*»... — «Нужно обладать добродетелью, но не слишком» (*фр.*); «*Faut d’la philosophie, pas trop n’en faut*»... — «Нужно быть философом, но не слишком» (*фр.*). (пер. Г. Б. Кремнева: «Без добродетели не проживешь, но не переборщи»).

5. ...«*Отвлеченных начал*»... — Намек на докторскую диссертацию В. С. Соловьева «Критика отвлеченных начал» (1880) — системное философское произведение, рассматривающее проблемы онтологии, гносеологии, этики с точки зрения характерной для В. С. Соловьева попытки синтеза мистики и рационального знания. С. Н. Дурылин солидаризируется с К. Н. Леонтьевым в неприятии «систем» и тяготении к «импрессионизму».

6. <>«*Есть врачи и физиологи ~ необходимость и только*» — К. Н. Леонтьев. Кто правее. Письмо 7-е // Леонтьев. Т. 8 (2). С. 136–137. Цитируется с сокращениями. Ср. в письме А. А. Александрову он по этому поводу цитирует Вольтера: «Когда человек говорит, и никто его не понимает, и когда он сам, наконец, начинает ничего не понимать, — это метафизика!» (Письмо от 12 сентября 1889 // Богословский вестник. 1914. № 12).

7. ...*Гартмана* — Леонтьев видел союзника в пессимисте Э. Гартмане, который «верно „чувет“ дело, когда говорит, что признак близости конца для человечества есть преобладание *сознательного над бессознательным*» (Письмо А. А. Александрову. 3 мая 1890 // Богословский вестник. 1914. № 12. С. 860).

8. *В зрелые годы, судя по его ремаркам ~ И. Киреевского, Хомякова, Ю. Самарина, Страхова и Вл. Соловьева* — Леонтьев просил Александрова купить ему и прислать в Оптину книги славянофилов: «Да еще бы хоть цену узнать полному собранию Конст. Серг. Аксакова (именно то нужно, где он что-то говорит о духе русского народа; я ведь его совсем не знаю, — только по отзывам) и Ив. Вас. Киреевского (этого я читал, но что-то плохо помню: немного отвлеченно и бесцветно показалось, — не врезалось)» (Письмо А. А. Александрову. 12 мая 1888 // Богословский вестник. 1914. № 6. 277). В итоге оба собрания Леонтьеву дал для прочтения С. Ф. Шарапов.

9. ...*по признанию В. В. Розанова, он был в числе немногих читателей его трактата «О понимании»* — В. В. Розанов и К. Н. Леонтьев. Материалы неизданной книги «Литературные изгнанники». Переписка. Неопубликованные тексты. Статьи о К. Н. Леонтьеве. Комментарии / Сост. Е. В. Ивановой. СПб., 2014. С. 99 (далее сокращенно: *Литературные изгнанники*).

10. *«Вековые течения истории и философии — вот что станет, вероятно, в ближайшем будущем любимым предметом нашего изучения»...* — Там же. С. 858.

11. *«Я опасаясь для будущего России ~ это начало конца»* — Леонтьев К. Н. Письмо В. В. Розанову. 13 июня 1891 // Там же. С. 258.

12. *«А „прекрасное“, — изучаемое эстетикой, ~ эти серьезные люди»* — Леонтьев К. Н. Сквозь нашу призму // Леонтьев. Т. 7 (2). С. 222.

13. Так в рукописи.

14. ...*«Подлипки»...* — Впервые: Отечественные записки. 1861. Кн. IX–XI.

15. *«Ты понимаешь, Володя ~ растрепанными волосами»* — К. Н. Леонтьев. Подлипки // Леонтьев. Т. 1. С. 497.

16. *«Я так ее любил ~ было очень важно!»* — Леонтьев К. Н. Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе // Леонтьев. Т. 6 (1). С. 793.

17. ...*«мать моя поняла ~ и мы помирились»* — Леонтьев К. Н. Рассказ моей матери об Императрице Марии Федоровне // Леонтьев. Т. 6 (1). С. 562. Цитируется с сокращениями.

18. *Юношей 20 лет, с первым своим литературным опытом в руках, Леонтьев приходит к Тургеневу, уже прославленному автору «Записок охотника»* — К. Н. Леонтьев познакомился с И. С. Тургеневым в 1851 г., когда принес ему свою комедию «Женитьба по любви». Тургенев нашел вещь замечательной и отдал ее в «Отечественные записки». Однако комедия была запрещена цензурой «от первого слова до последнего» (Письма И. С. Тургенева к К. Н. Леонтьеву (1851–1876) // Русская мысль. 1886. XII. С. 66). Воспоминания Леонтьева о Тургеневе:

Леонтьев К. Н. Моя литературная судьба; Тургенев в Москве. 1851–1861 гг. (Леонтьев. Т. 6 (1). С. 27–71, 696–747).

19. ...«*les mains soignées*»... — «ухаженные руки» (фр.)

20. «Росту он был ~ своих героев» — Леонтьев К. Н. Моя литературная судьба // Леонтьев. Т. 6 (1). С. 36–37. Цитируется с сокращениями.

21. ...автором «Писем об Испании», В. П. Боткиным... — Боткин Василий Петрович (1812–1869) — журналист. «Письма об Испании» публиковались в «Современнике» в 1847–1848 гг.

22. ...«становилось досадно ~ Альгамбры и боя быков!» — Леонтьев К. Н. Тургенев в Москве. 1851–1861 гг. // Леонтьев. Т. 6 (1). С. 730.

23. ...*épicier*... — лавочник (фр.)

24. «Кроме Тургенева ~ Жена его носит очки» — Леонтьев К. Н. Моя литературная судьба // Леонтьев. Т. 6 (1). С. 70–71. Цитируется с сокращениями.

25. ...«я знал ~ личное нерасположение»... — Леонтьев К. Н. Тургенев в Москве. 1851–1861 гг. // Леонтьев. Т. 6 (1). С. 734.

26. «Меня все-таки ~ не похожа» — Там же. С. 737–738.

27. ...радость признания Тургеневым его литературного дара... — Е. Н. Погожев (Поселянин), лично знакомый с Леонтьевым, иначе оценил этот факт: «Начал он писать рано, и Тургенев, который в числе печальных слабостей своего характера имел обычай захваливать молодых людей, внушая им заведомо для него самого несбыточные надежды, наговорил ему о его беллетристических опытах что-то вроде „вы нас всех скоро за пояс заткнете“» (Поселянин Евгений. Леонтьев. Воспоминания // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Антология. Кн. I. / Под ред. А. П. Козырева, А. А. Королькова. СПб., 1995. С. 185). Поначалу И. С. Тургенев хвалил К. Н. Леонтьева. Так, в письме от 18 февраля 1852 г. он писал: «Я считаю Вас очень способным к роману или повести; это ваше настоящее поприще. Ваш тонкий, грациозный, иногда болезненный, но часто верный и сильный анализ тут у места» (Письма И. С. Тургенева к К. Н. Леонтьеву (1851–1876) // Русская мысль. 1886. XII. С. 69). Однако в письме от 3 октября 1860 г. он уже высказывался так: «Ваша слабость лежит (как оно всегда бывает) там же, где ваша сила: ваши приемы слишком тонки и изысканно умны, часто до темноты» (Там же. С. 84). В последнем же письме от 16/4 мая 1876 г. К. Н. Леонтьев получил от И. С. Тургенева уже настоящую отповедь: «Так называемая беллетристика, мне кажется, не есть настоящее ваше призвание; несмотря на ваш тонкий ум, начитанность и владение языком, ваши лица являются безжизненными. Я могу ошибаться и первый готов рукоплескать тому успеху вашего романа, о котором вы говорите в своем письме. К сожалению, я его не прочел» (Там же. С. 87).

28. ...«что он богат»... — Леонтьев К. Н. Тургенев в Москве. 1851–1861 гг. // Леонтьев. Т. 6 (1). С. 715.

29. ...«трансцендентный эгоизм»... — выражение К. Н. Леонтьева. См. напр. в письме В. В. Розанову от 13 апреля 1891 г. (Литературные изгнанники. С. 207),

в письме А. А. Александрову 23 октября 1891 г. (Богословский вестник. 1915. № 1. С. 25–27).

30. *...Россия усмирила Польшу ~ буржуазной Европы.* — Леонтьев К. Н. Национальная политика как орудие всемирной революции (письма к о. И. Фуделю) // Леонтьев. Т. 8 (1). С. 520–521.

31. *Это — совсем не по Каткову ~ не по Леонтьеву* — Так, Леонтьев был противником М. Н. Каткова по отношению к греко-болгарской распре — отделению Болгарской (т.е. национальной) Церкви от Константинопольского Патриархата и автокефалии — и посвятил этой теме серию статей. Его статья «Еще о греко-болгарской распре», предназначенная для «Русского вестника», была «уже сверстана, но в последний момент изъята Катковым из февральской книжки за 1875 год» (Фетисенко О. Л. «Ревнителю охранения обуреваемых святынь». О переписке К. Н. Леонтьева и Т. И. Филиппова // Пророки византизма. С. 17). В связи с этим Леонтьев впервые и написал письмо Т. И. Филиппову, тогда товарищу государственного контролера и постоянному автору «Гражданина». Катков предпочитал публиковать яркие восточные повести Леонтьева (в «Русском вестнике» были опубликованы «Хризо», «Пембе», «Паликар и Костаки», «Аспазия Ламприди», «Одиссей Полихрониадес», «Дитя души», «Сфактиот», «Египетский голубь»), но философско-публицистических текстов печатал мало. В силу этого, как пишет Дурылин, «отношение К. Леонтьева к Каткову было двойственно. К Каткову — как к личности, как к редактору и издателю — Леонтьев относился с нескрываемым отвращением» (Дурылин С. Н. Комментарии // Леонтьев К. Н. Моя литературная судьба. С. 478). О. Л. Фетисенко установила, что, в свою очередь, греко-болгарская распря была одной из причин расставания Леонтьева со славянофильством (Фетисенко О. Л. Гептастилисты. Константин Леонтьев, его собеседники и ученики. СПб., 2012. С. 66–67).

32. *...горбатый Леонтьев угощал меня там под вечер плохим и слабым чаем* — С. Н. Дурылин комментировал: «Леонтьев Павел Михайлович (1822–1875), с которым обычно смешивают К. Н. Леонтьева, — профессор московского университета по кафедре римской словесности, издатель сборников „Прописей“ в 1850-х годах, был самым близким сотрудником Каткова по редактированию „Московских Ведомостей“ и „Русского Вестника“, в которых П. Леонтьев выступал в качестве политического публициста. Яркую характеристику его дал С. М. Соловьев: „Маленькая двугорбая фигура с четвероугольным матово бледным лицом, густыми русыми волосами, карими холодными, не проницательными, но внимательными, старающимися проникнуть и потому очень неприятными глазами. Первое, что поражало в Леонтьеве внимательного человека, — это напряженное внимание, с каким он обращался ко всему, желание проникнуть, изучить человека, дело, отношение. Цепкость была отличительным качеством Леонтьева; вцепится во что-нибудь — не отстанет; „собака“ (репейник) есть лучшее для него подобие. Эта цепкость в каждом

деле была драгоценнейшим его качеством для Каткова, когда они вместе издавали журнал, газету, завели лицей; нетерпеливый впечатлительный Катков приходил в отчаяние от каждой неудачи, от каждой ошибки, от каждого препятствия; но Леонтьев вцепился крепко в дело, и ничем нельзя было его отцепить; всякую беду он надеется переждать, всякое препятствие преодолеть, всякую ошибку поправить; он везде ровен, выдержлив; бешеный Катков опрокинется на него с упреками, — Леонтьев выдержит спокойно и успокоит. Та же цепкость — в привязанности и во вражде“ („Записки С. М. Соловьева“, П., 1910, стр. 131–132)» (Дурылин С. Н. Комментарии // Леонтьев К. Н. Моя литературная судьба... С. 475–476).

33. ...*Rambouillet, Dudeffant, M. Récamier, Staël...* — хозяйки литературных салонов. Маркиза де Рамбуйе, мадам де Рамбуйе, Екатерина де Вивон (устар.: Рамбулье) (1588–1665) — знаменитая хозяйка парижского литературного салона эпохи Людовика XIV. Дю Деффан Мари (Мария de Vichy Chamrou, маркиза Du Deffand; 1697–1780) — хозяйка блестящего салона, постоянными посетителями которого были Вольтер, Д'Аламбер, мадемуазель де Лепинас и др. Корреспондентка Вольтера. Жанна Франсуаза Жюли Аделаида Рекамье (1777–1849) — хозяйка литературно-политического салона во Франции. Его гостями были Р. Шатобриан, О. Сент-Бев, писательница де Сталь. Анна-Луиза Жермена де Сталь (1766–1817) — французская писательница, дочь видного государственного деятеля эпохи Людовика XVI, банкира Жака Неккера. Много позже С. Н. Дурылин в серии своих межкультурных исследований написал о ней книгу: Дурылин С. Н. Г<оспо>жа де Сталь и ее русские отношения // Литературное наследство. 1939. № 33–34.

34. ...*Софья Петровна Каткова...* — Каткова Софья Петровна (1832–1913) — «дочь известного писателя-сентименталиста начала XIX ст. кн. П. И. Шаликова (1768–1852), жена (с 1852 г.) М. Н. Каткова. „Тщедушная, маленького роста, она была очень дурна собой; образование ее не шло далее умения болтать по-французски, но все бы это еще ничего, если бы не образцовая ее глупость“, — пишет апологет Каткова, Е. М. Феоктистов. — „Чем могла она подействовать на такого человека, как Катков? Княжеский титул ее ровно ничего не значил, состояния она не имела никакого, Шаликовы находились чуть не в нищете. Ф. И. Тютчев по поводу этого странного союза человека умного с глупою женщиной заметил однажды: „Что же, вероятно, Катков хотел свой ум посадить на диету“. Сколько лет я был связан тесною дружбой с М<ихаилом> Н<икифоровичем>, но никогда не мог сойтись с его супругой. Она положительно действовала мне на нервы. Глупость кроткая, безобидная, пожалуй, примиряет с собой, другое дело глупость с претензиями, которых у С. П. Катковой было очень много и самых нелепых“ (Е. М. Феоктистов. «За кулисами политики и литературы». 1848–1896. Л., 1929, стр. 87–88[271])» (Дурылин С. Н. Комментарии // Леонтьев К. Н. Моя литературная судьба... С. 477).

35. ««В гадкой редакции на Страстном бульваре ~ не успели ничего испортить...»» — Леонтьев К. Н. Моя литературная судьба // Леонтьев. Т. 6 (1). С. 75–79. Первая публикация этого текста была осуществлена С. Н. Дурылиным (Литературное наследство. 1935. № 22–24). Машинописный текст этого сочинения К. Н. Леонтьева был передан С. Н. Дурылину М. В. Леонтьевой. Как писал С. Н. Дурылин в примечаниях к публикации: «Ее рукою, лучшего знатока рукописей К. Леонтьева, написано заглавие всего сочинения и ряд примечаний К. Леонтьева; они вписаны М. В. Леонтьевой карандашом, под страницами машинного текста. Текст тщательно выверен М. В. Леонтьевой с рукописью, местонахождение которой мне, к сожалению, неизвестно. Ее не было уже у М. В. Леонтьевой, когда в 1925–1926 гг. мне случилось бывать у нее» (Там же. С. 471–472).

36. «Он легко мог познакомиться ~ героя индустриального прогресса» — Леонтьев К. Н. Знакомство с Лессепсом // Леонтьев. Т. 8 (1). С. 142. Фердинанд Лессепс (1805–1894) — дипломат и предприниматель, руководил французской строительной фирмой, строившей Панамский канал и обанкротившейся (1888). В 1893 г. Лессепс вместе с сыном Шарлем был приговорен к 5-летнему тюремному заключению за обман при ведении предприятия и за подкупы депутатов и журналистов.

37. А севастопольский же полевой врач, — Константин Леонтьев... — К. Н. Леонтьев, получив степень врача в Московском университете, с мая 1854 г. служил батальонным лекарем в прифронтовых госпиталях и при Донском казачьем 65-м полку.

38. «Я был в упоении ~ апофеоз блаженства» — Леонтьев К. Н. Сдача Керчи в 1855 году // Леонтьев. Т. 6 (1). С. 652–654. Цитируется с изменениями.

39. ...«Вечерние огни»... — Так назывались четыре выпуска последних прижизненных сборников стихов А. А. Фета (1883, 1885, 1889, 1891), в подготовке которых к изданию принимали участие Н. Н. Страхов и В. С. Соловьев.

40. «Ваши поэтические „Вечерние огни“... боится поэзии» — Леонтьев К. Н. Письмо А. А. Фету. 3 февраля 1888 г. / Письма К. Н. Леонтьева к А. А. Фету (1883–1891) / Публ. О. Л. Фетисенко // А. А. Фет. Материалы и исследования. М.; СПб., 2010. Вып. 1. С. 256. Леонтьев считал, что в старости уже нельзя сочинять любовную лирику: «Продолжаю радоваться за Фета, и сызнова с большим удовольствием и чувством перечитывал все эти дни его старые (т.е. молодые) стихи; но его „Вечерними огнями“ восхищаться, как другие, решительно не могу! „Люблю тебя“ (кх, кх, кх!)... „Ты села, я стоял“ (кх, кх, кх!)... Не понимаю» (Письмо А. А. Александрову. 17 февраля 1889 // Богословский вестник. 1914. № 6. С. 295). Письма к Фету были скопированы Дурылиным (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1022).

41. ...«или это было бы торжество ~ безстыдно готов исповедывать!» — Леонтьев К. Н. Не к стати и к стати (письмо А. А. Фету по поводу его юбилея) // Леонтьев. Т. 8 (1). С. 636.

42. «Нынешние формы ~ и нехристианской жизни» — Ср. в письме к Т. И. Филиппову от 26 июня 1887 г. о юбилее Я. П. Полонского (*Пророки византизма*. С. 431).

43. ...«психолог Астафьев»... — Астафьев Петр Евгеньевич (1846–1893) — философ, психолог, публицист, заведующий университетским отделением Катковского лицея; его «пятницы» посещали Леонтьев и В. С. Соловьев. Между П. Е. Астафьевым и К. Н. Леонтьевым произошел конфликт, когда в статье «Национальное самосознание и общечеловеческие задачи» (*Русское обозрение*. 1890. Март) П. Е. Астафьев, ориентированный на идеи Достоевского, предпринял критику национального идеала Леонтьева. Завязалась полемика. В итоге Леонтьев стал писать ответ в форме писем к Вл. Соловьеву, однако не успел их окончить, при жизни публикация не состоялась. В «Первом письме» к В. С. Соловьеву К. Н. Леонтьев изложил и ход спора. См. об отношениях Леонтьева и Астафьева: *Леонтьев К. Н.* Письмо А. А. Александрову. 20 сентября 1890 г. // *Богословский вестник*. 1915. № 1. С. 8–9; *Котельников В. А., Фетищенко О. Л.* Комментарии // *Леонтьев*. Т. 8 (2). С. 1200–1217.

44. «Ну — на следующей неделе ~ чисто — орангутанги!» — Письмо К. Н. Леонтьева А. А. Фету. 2 июля 1888 г. // А. А. Фет. *Материалы и исследования...* Вып. 1. С. 262.

45. ...*Губастову...* — Губастов Константин Аркадьевич (1845–1913), как писал С. Н. Дурылин, «видный дипломат эпохи Александра II, Николая II, ближайший друг К. Н. Леонтьева. Познакомившись с Леонтьевым в 1867 г. в Константинополе, Губастов оставался в самых близких дружеских отношениях с ним вплоть до его смерти. Дипломатическая карьера Губастова протекала в течение первого своего десятилетия на Востоке (1867 г. — секретарь консульства в Адрианополе, должность, в которой Губастов сменил Леонтьева. Им подолгу случилось жить вместе (в Константинополе; в остальное время велась деятельная переписка. Леонтьев неоднократно говаривал, что до конца знают его только два человека — племянница М. В. Леонтьева и К. А. Губастов. Эта исключительная близость подтверждается их перепиской: письма Леонтьева к Губастову, напечатанные им в „Русском Обозрении“ (1894 г., кн. 9; 1895, кн. 11, 12; 1896, кн. 1–3, 11, 12; 1897, кн. 1, 3, 5–7) и в сборнике „Памяти К. Н. Леонтьева“ (СПб, 1911), являются важнейшим источником для изучения как жизни, так и мировоззрения Леонтьева, который делал Губастова поверенным самых затаенных своих исканий» (*Дурылин С. Н.* Комментарии // *Леонтьев К. Н.* *Моя литературная судьба...* С. 476–477). К. А. Губастов намеревался переиздать сочинения К. Н. Леонтьева, однако издание не удалось. См.: *Памяти Константина Николаевича Леонтьева, 1891: Литературный сборник*. СПб., 1911; *Розанов В. В.* Кружок К. А. Губастова в память К. Н. Леонтьева // *Литературные изгнанники*. С. 1033–1034.

46. «Я ласкаю себя надеждой ~ безцветную и безхарактерную» — Леонтьев К. Н. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения // Леонтьев. Т. 8 (1). С. 206.

47. *...arbiter elegantiarum...* — авторитет изящного (лат.). Титул был дан императором Нероном Петронию (автору «Сатирикона»).

48. «слова Данилевского ~ для этого создал материю»... — Эти слова приводит Страхов в своем предисловии к третьему изданию «России и Европы» (Страхов Н. Н. Предисловие // Н. Я. Данилевский. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германно-Романскому. СПб., 1888. С. XXXIV), их цитирует Леонтьев в письме к Филиппову от 10 октября 1888 г. (Пророки византизма. С. 517) и в письмах «Кто правее» (Леонтьев. Т. 8 (2). С. 67).

49. *...фустанеллы...* — Фустанелла — мужская короткая юбка у албанцев, греков, румын.

50. «Вы не перешли за ту черту ~ жизни и духовного развития» — Письмо провинциала к г. Тургеневу // Леонтьев. Т. 9. С. 10. Подчеркнуто Дурьлиным.

51. *...Ксеркса во время бури ~ в волны Геллеспонта...* — Леонтьев К. Н. Византизм и славянство: Леонтьев. Т. 7 (1). С. 309. Леонтьев ссылается на статью Герцена «Несколько замечаний об историческом развитии чести»: Герцен А. И. Былое и думы // Герцен А. И. Собр. соч.: в 30 т. М., 1954. Т. 2. С. 158–159.

52. «Для того, кто не считает блаженство ~ построили Кремль и его соборы» — Варшава, 16 января / Передовые статьи «Варшавского Дневника» // Леонтьев. Т. 7 (2). С. 25.

53. *...«Природа грозила убить искусство ~ в красоте и красотой»* — Письмо провинциала к г. Тургеневу // Леонтьев. Т. 9. С. 9–10. Подчеркнуто Дурьлиным.

54. *<<Огонь исторических ~ горячей и полной жизни»* — Там же. С. 17–18.

55. «Красота — говорит Леонтьев ~ сложного, развитого человека» — Леонтьев К. Н. По поводу рассказов Марка-Вовчка // Леонтьев. Т. 9. С. 26.

56. *<<[Из всей природы ~ хвостами позади»* — Леонтьев К. Н. Не кстати и кстати // Леонтьев. Т. 8 (1). С. 626–627.

57. Розанов и его «красота» — Возможно, имеются в виду размышления В. В. Розанова о связи красоты и жизни, и даже физиологичности красоты: «Все поднимут на меня камни, но я отвечу холодным: „все-таки самое-то красивое — ведь рожденное“. Рожденная женщина, рожденная лошадь, рожденная собака. Все вот именно живое — одно подлинно и великолепно, неизъяснимо, божественно» (Розанов В. В. Возрождающийся Египет. Апокалипсическая секта (Хлысты и скопцы). Малые произведения 1909–1914 годов. М., 2002. С. 80–81).

58. *<<Красивые цветы ~ внешней эстетической мерки? >>* — Леонтьев К. Н. Не кстати и кстати // Леонтьев. Т. 8 (1). С. 627. Цитируется с сокращениями.

59. *Есть упоение в бою / И бездны мрачной на краю — / И на краю вселенской гибели* — Пушкин А. С. Пир во время чумы (1830).

60. Подчеркнуто Дурылиным.

61. ...Франк... — Статья С. Л. Франка впервые опубликована: Критическое обозрение. 1909. Кн. VII. Цитируется с сокращениями. В эмиграции Франк написал о Леонтьеве еще одну статью, в которой пересмотрел свое отношение к нему. Теперь он характеризовал мышление Леонтьева как трагическое и отказывался не только от выражения «эстетическое изуверство», но и от термина «аморализм» (Франк С. Л. Константин Леонтьев, русский Ницше // Франк С. Л. Русское мировоззрение / сост. А. А. Ермичев. СПб., 1996. С. 404–422).

62. ...Бодлэр... — С. Н. Дурылин занимался исследованием влияния Ш. Бодлера на русских символистов и сделал доклад в Государственной Академии Художественных Наук. Опубл.: Дурылин С. Бодлэр в русском символизме / Публ. и коммент. Г. В. Нефедьева // Книгоиздательство «Мусагет». История. Мифы. Результаты. Исследования и материалы. С. 261–327.

63. Подчеркнуто Дурылиным.

64. Подчеркнуто Дурылиным.

65. Цитируется с сокращениями.

66. Подчеркнуто Дурылиным.

67. Цитируется с сокращениями.

68. ...«Одиссей Полихрониадес»... — Этот роман Леонтьев считал своей лучшей вещью, наряду с «Византизмом и Славянством». С. Н. Дурылин дал следующий комментарий: «главное художественное произведение К. Н. Леонтьева — „Одиссей Полихрониадес. Воспоминания загорского грека“, впервые полностью напечатанные в IV томе Собрания сочинений Леонтьева (М., 1912). Плод многолетнего труда и долгих пристальных наблюдений над жизнью Ближнего Востока, роман Леонтьева дает историю жизни рядового представителя выносливой, ловкой и предприимчивой греческой торговой буржуазии — эпирского грека Полихрониадеса. Параллельно разворачивается в романе другая, контрастная, биография — русского консула Благова. Роман изобилует множеством действующих лиц из разных народностей, классов, вероисповеданий, и рисует широкую картину греко-турецкого Востока, колониальной страны, опекаемой европейскими великими державами, представители которых — консулы — играют видную роль в романе. Леонтьев считал „Одиссея“ важнейшим своим художественным произведением. „Что я сделал? — пишет Леонтьев Т. И. Филиппову в неизданном письме от 7 января 1886 года, — судя по отзывам людей весьма разнообразных: едва ли „Одиссей Полихрониадес“ ниже „Обрыва“ и „Обломова“. Работу над „Одиссеем“ Леонтьев начал в Константинополе в 1873 году: „Кады-Кей. Пишу начало Одиссея“, читаем в „Хронологии моей жизни“. Последний отрывок закончен в 1882 году. В течение этого десятилетия „Одиссей“ появлялся в „Русском Вестнике“ отдельными кусками, под особыми заголовками, придававшими этим кускам характер сюжетной законченности. Первая часть романа, написанная в Константинополе, появилась в „Русском Вестнике“

в 1875 году (№ 6–8), под заглавием: „Мое детство и наша семья. Воспоминания Одиссея Полихрониадеса, загорского грека“. Вторая часть, начатая в августе 1874 г. в Оптиной пустыни, появилась в 1–3 книжках „Русского Вестника“ 1876 г. под заглавием: „Мои первые испытания и успехи, соблазны и дела“, с тем же подзаголовком. Оба эти куска романа были перепечатаны в те же годы во II и III томах „повестей и рассказов“ К. Леонтьева „Из жизни христиан в Турции“. Дальнейшие куски „Одиссея“ вышли под заглавиями „Камень Сизифа“ (там же, 1877, книги 8, 9, 11 и 12, 1878, книги 7–10) и „Я купец“ (там же, 1882, кн. 1). Роман остался неоконченным: он обрывается на фразе: „так ликовал я, не зная, что мне придется скоро опять раскаиваться. И как глубоко, как постыдно!“ Леонтьев пытался выпустить полное издание романа в трех томах, стараясь заинтересовать им А. С. Суворина. „Денег не требую“, — писал Леонтьев в неизданной записке „Об издании „Одиссея“, — с меня достаточно, чтобы мне была предоставлена продажа после погашения расходов“; Леонтьев соглашался даже на то, чтоб роману предшествовало чье-нибудь предисловие (12 августа 1890), но Суворин нашел издание невыгодным. Роман появился, как уже сказано, только в посмертном собрании сочинений» (Дурылин С. Н. Комментарии // Леонтьев К. Н. Моя литературная судьба... С. 473–474).

69. *Quelle beauté!* — какая красота! (фр.)

70. *...Ecoutez!* — Слушайте! (фр.)

71. *...Ив. Аксаков, Страхов, С. Рачинский, С. Трубецкой и др., люди самодержавной этической цензуры* — об отношении Н. Н. Страхова и С. А. Рачинского к К. Н. Леонтьеву лучше всего высказался В. В. Розанов в предисловии к публикации писем к нему К. Н. Леонтьева: «Они не любили и почти боялись Леонтьева. Как Хома-философ (в „Вие“, спокойно улегшийся на незнакомом ночлеге, испугался при входе ведьмы-старухи (она же оборотень-красавица), они защищались от Леонтьева почти его словами: „Нет, голубушка, теперь пост, и я скоромиться не хочу“. То же отвращение, негодование, до отказа просто что-нибудь прочесть» (Розанов В. В. Из переписки К. Н. Леонтьева // *Литературные изгнанники*. С. 70). Причиной было именно неприятие леонтьевского эстетизма. С. Н. Трубецкой после смерти К. Н. Леонтьева написал о нем статью «Разочарованный славянофил» (Вестник Европы. 1892. Октябрь), где обвинял К. Н. Леонтьева в цинизме и безнравственности.

72. <<»*Высшее развитие ~ но даже требующая их<<»* — Леонтьев К. Н. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения // Леонтьев. Т. 8 (1). С. 194. Цитируется с небольшими изменениями.

73. <<»*Гармония — или прекрасное ~ высшей гармонией*» — Леонтьев К. Н. Русские, греки и юго-славяне // Леонтьев. Т. 7 (1). С. 498. Цитируется с незначительными изменениями.

74. «Пушкин сопровождает Паскевича на войну ~ „реально-эстетической гармонии“» — Леонтьев К. Н. О всемирной любви // Леонтьев. Т. 9. С. 211–212.

75. ...к В. В. Розанову, в августе 1891 г., т.е., за 2 ½ месяца до смерти — Переписка К. Н. Леонтьева и В. В. Розанова длилась с апреля по октябрь 1891 г.

76. ...Спенсера... — ср. в письме А. А. Александрову: «Если же достанет денег, то купите мне еще Спенсера „Основы психологии“ (?) или „Основы этики“ (?) — не знаю <...> Это та книга, где предсказывается, что *все применяется к жизни, и будет всем легко*» (Письмо от 6 сентября 1889 // Богословский вестник. 1914. № 12. С. 834).

77. ...Бокля, Спенсера, Бастиа, Шлоссера, Прудона... — Бокль Генри Томас (1821–1862) — английский историк, автор «Истории цивилизации в Англии» (1857–1861, рус. пер. 1861–1864). Спенсер Герберт (1820–1903) — английский философ, основатель социологии и позитивист. Бастиа Фредерик (1801–1850) — французский либеральный экономист; Шлоссер Фридрих Кристоф (1776–1861) — немецкий историк, демократ и просветитель; Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) — французский социалист и анархист. В критике прогрессизма С. Н. Дурылин — наследник К. Н. Леонтьева и В. В. Розанова.

78. ...«прежде всего не знают и не понимают законов прекрасного» — Леонтьев К. Н. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения // Леонтьев. Т. 8 (1). С. 217.

79. ...«добру и злу внимая равнодушно»... — слова Григория Отрепьева из трагедии «Борис Годунов» (1825) А. С. Пушкина.

80. <<«Настоящий культурно-славянский идеал ~ гениальные отражения в искусстве»> — К. Леонтьев. О Владимире Соловьеве и эстетике жизни (по двум письмам). М., 1912. С. 32–34. Впервые: Фудель И., свящ. Культурный идеал К. Н. Леонтьева // Русское Обозрение. 1895. Январь. С. 268–273. Впервые целиком опубликовано: К. Н. Леонтьев: pro et contra. Антология... Кн. I. С. 170–174; «Премство от отцов». Константин Леонтьев и Иосиф Фудель. Переписка. Статьи. Воспоминания / Сост. О. И. Фетисенко. СПб., 2012. С. 362–372. Приводится с сокращениями. Ср. параллельное место в письме Филиппову от 10 октября 1888 г. (Пророки византизма. С. 517).

81. <<«Надо ценить прекрасное ~ честным в искусстве»> — Леонтьев К. Н. Передовые статьи Варшавского дневника 1880 года. Варшава, 19 января // Леонтьев. Т. 7 (2). С. 32.

82. ...статью В. В. Розанова «Эстетическое понимание истории» ~ мы его с Вами понимаем — В. В. Розанов писал, что под влиянием этого соображения К. Н. Леонтьева попросил редактора «Русского вестника» Ф. Н. Берга переменить название на: «Теория исторического прогресса и упадка» (Литературные изгнанники. С. 131–132), что и было сделано. История написания и названия статьи: Козырев А. П. Примечания // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Антология... Кн. I. С. 440–443.

83. Это во 1-х. А во 2-х, этическое мировоззрение ~ всемирное... смешение, разрушение, вторичное упрощение — С. Н. Дурылину, как и К. Н. Леонтьеву, было явно

ближе христианство стремления. См. запись в его дневнике 6(19) апреля 1922 года: «Опять старая моя мысль: христ<ианст>во „исполнения“ ([Михаил Александрович] Новоселов) — и х<ристианст>во смирения: „я — ничего“ — и в этом „ничего“ все х<ристианст>во: (плясун Лескова, благ<оразумный> разб<ойник>, Буслаев, по изобр<ажению> Розанова: „просто профессор и теория словесности“, но „верую, Господи“ и „аз нищ и убог“» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 297. Л. 6 об.).

84. *«Вот это я называю мировоззрением правдивым ~ коров, ослов, овец и свиней»* — Леонтьев К. Н. Еще о «Дикарке» гг. Соловьева и Островского // Леонтьев. Т. 9. С. 131–132.

85. *...quod licet Iovi, non licet bovi...* — Что позволено Юпитеру, не позволено быку (лат.).

86. *«Вронский в „Анне Карениной“ несравненно изящнее и, говоря языком Гомера, боговиднее того профессора, который спорит с братом Левина?»* — Леонтьев К. Н. Моя литературная судьба. 1874–1875 года // Леонтьев. Т. 6 (1). С. 112. Цитируется с сокращениями. К. Н. Леонтьев повторяет свои мысли, высказанные в работе «Анализ, стиль и веяние. По поводу романов гр. Толстого». Именно она и послужила поводом к написанию В. В. Розановым статьи «Эстетическое понимание истории».

87. *«Я так и говорил ~ сравнительном законоведении или ботанике»* — Там же. К. Н. Леонтьев комментирует свой спор с И. С. Аксаковым о книге «Византизм и славянство». «Г. А. Потемкин (1739–1791) был излюбленным лицом эстетической историософии К. Леонтьева. Потемкина и герцога Жана де Монморанси (Montmorency, 1760–1826), участника войны за независимость американских штатов <...> Леонтьев противопоставляет делателям буржуазной толпы, банальные фамилии которых сводит в конце концов к ругательству — *La gasaille*» (Дурылин С. Н. Комментарии // Леонтьев К. Н. Моя литературная судьба... С. 491). См.: Фетисенко О. Л. Реконструкция одного спора: К. Леонтьев и И. Аксаков о митрополите Филарете // Филаретовский альманах. Вып. 4. М., 2008.

88. *«Европейская культура и наше отношение к ней», затерянной в одном из августовских №№ „Моск<овских> Вед<омостей>“ (16/VIII) 1891 г.* — Леонтьев считал статью одним из поворотных пунктов в своей жизни. Он писал о ней о. И. Фуделю 5 сентября 1891 г. из Сергиева Посада: «16 августа появилась та статья Розанова, которая Вас так утешила (она и меня до того успокоила, что московские друзья, не зная другой причины (той!), заключили во мне что-то особенно благодушное и приписали все этой статье)» («Преимство от отцов»... С. 325).

89. Розанов В. В. Европейская культура и наше отношение к ней // Литературные изгнанники. С. 141–142.

90. <<... Форма, — говорит Леонтьев, — материя — положительный>> — Леонтьев К. Н. Византизм и славянство // Леонтьев. Т. 7 (1). С. 382.

91. <<...Форма есть деспотизм ~ внутренней идеи>> — Там же. С. 383.
92. <<Растительная и животная морфология ~ цветы и плоды>> — Там же.
93. «Дуб, сосна, яблоня и тополь ~ средне-пропорциональное дерево» — Там же. С. 410.
94. Подчеркнуто Дурылиным.
95. Подчеркнуто Дурылиным.
96. Подчеркнуто Дурылиным.
97. <<... Мы заметим то же Вальтер-Скотт, Гете, Шиллер>> — Леонтьев К. Н. Византизм и славянство // Леонтьев. Т. 7 (1). С. 379–380. Цитируется с сокращениями.
98. <<... Мы заметим то же духа, любви, чувства> — Там же. С. 380. Цитируется с небольшими изменениями.
99. «Я считал волю к красоте, к пребыванию в тождественных формах, средством сохранения и поддержания» — Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М., 2005. С. 239.
100. «Надо условиться в терминах ~ культурнее северо-американцев» — Леонтьев К. Н. Письма о восточных делах // Леонтьев. Т. 8 (1). С. 51. Цитируется с небольшими изменениями.
101. «Культура contra цивилизация ~ прямо противоположного» — Ницше Ф. Воля к власти... С. 90.
102. <<... Цель всего ~ людей, тоже покойных>> — Леонтьев К. Н. Византизм и славянство // Леонтьев. Т. 7 (1). С. 411. Цитируется с небольшими изменениями.
103. <<...Господство же среднего класса ~ которого прежде всего выработал>> — Там же. С. 419. Цитируется с небольшими изменениями. После «буржуа» зачеркнуто: <<Поэтому и Прудон, этот упрощитель par excellence с жаром уверяет, что цель всей истории состоит в том, чтобы обратить всех людей в скромных, однородного ума и счастливых, неслишком много работающих буржуа! Будем крайни теперь в наших порывах!>>.
104. <<Со стороны исторической ~ „средний европеец“ и т.д. >> — Леонтьев К. Н. Кто правее? Письмо 8-е // Леонтьев. Т. 8 (2). С. 155. Цитируется с сокращениями. Ср. параллельное место в письме Т. И. Филиппову от 10 октября 1888 г. (Пророки византизма. С. 516).
105. <<Отклониться, по возможности ~ мечтал тогда для России>> — Там же. Цитируется с небольшими изменениями.
106. На полях заметка: «Вернуть в работу Т<олстой> и Л<еонтьев>». «„Т<олстой> и Л<еонтьев>“» — доклад С. Н. Дурылина «К. Леонтьев и Толстой», прочитанный в Государственном Музее Л. Н. Толстого 13 апреля 1927 г.
107. <<Характер трагического в жизни народа в высшей степени важен>> — Леонтьев К. Н. Грамотность и народность // Леонтьев. Т. 7 (1). С. 110. Подчеркнуто С. Н. Дурылиным.

108. <<«Необходимы страдания ~ лепить столбики для газовых фонарей»>> — Леонтьев К. Н. В своем краю // Леонтьев. Т. 2. С. 152.
109. <<«Человек, высекая из камня ~ подкарауленную им у природы»>> — Леонтьев К. Н. Византизм и славянство // Леонтьев. Т. 7 (1). С. 383.
110. <<«Нет сомнения, и эстетика ~ мороз пробегать по коже»>> — Леонтьев К. Н. По поводу рассказов Марка-Вовчка // Леонтьев. Т. 9. С. 27.
111. <<«Искусство у народа ~ Кремль и его соборы»>> — Леонтьев К. Н. Передовые статьи Варшавского дневника. Варшава, 16 января // Леонтьев. Т. 7 (1). С. 25.
112. <<«У Данилевского есть ~ разнообразие в единстве»>> — «Преемство от отцов»... С. 94. Дурылин цитирует с небольшими изменениями и сокращениями.
113. <<«Самая отсталость Италии ~ умы ост<альной> Европы»>> — Леонтьев К. Н. Племенная политика как орудие всемирной революции // Леонтьев. Т. 8 (1). С. 508–509. Цитируется с сокращениями.
114. <<«...Культура есть не что иное ~ политической свободы»>> — Леонтьев К. Н. Византизм и славянство // Леонтьев. Т. 7 (1). С. 333.
115. <<«Такую систему отвлеченных идей ~ по „книжке барона Корфа“>> — Леонтьев К. Н. Письма о восточных делах // Леонтьев. Т. 8 (1). С. 51.
116. Перед «Одиссеей» зачеркнуто: «Е<гипетский> Голубь». Имеется в виду неоконченная повесть К. Н. Леонтьева «Египетский голубь», опубликованная впервые в «Русском вестнике» (1881. № 8–10; 1882. № 1, 10).
117. <<«Прудон-искусство ~ разница в жизни огромная»>> — Леонтьев К. Н. Статьи, воспоминания и отрывки // Леонтьев К. Н. Собр. соч. / Редакция, вступления, примечания о. И. Фуделя. М., 1913. Т. VII.
118. «Ослабеют все проявления ~ утилитаризма (весьма вдобавок обманчивого)>> — Леонтьев К. Н. Письма к Владимиру Соловьеву (о национализме политическом и культурном). Письмо 2-е // Леонтьев. Т. 8 (2). С. 67–68.
119. <<«Живописцы наши выбирают ~ пустее действительности»>> — Леонтьев К. Н. Новый драматический писатель // Леонтьев. Т. 9. С. 99–100. Цитируется с сокращениями.
120. Подчеркнуто Дурылиным.
121. <<«Они ставят идеалом будущего ~ более односторонне крайние»>> — Леонтьев К. Н. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения // Леонтьев. Т. 8 (1). С. 216–217. Цитируется с сильными сокращениями и изменениями.
122. ...ex ungue leonem... — «льва по когтям» (лат.), парафраз пословицы «По когтям можно узнать льва».
123. Подчеркнуто Дурылиным.
124. <<«Французское дворянство ~ некрасивые и ничтожные...»>> — Леонтьев К. Н. Письма о восточных делах // Леонтьев. Т. 8 (1). С. 95–96. Цитируется с небольшими изменениями.

125. Подчеркнуто С. Н. Дурьлиным.

126. <<«Поверьте мне ~ упрощенности фраков и пиджаков?»>> — Леонтьев К. Н. Не кстати и кстати (письмо А. А. Фету по поводу его юбилея) // Леонтьев. Т. 8 (1). С. 632–633. Цитируется с изменениями.

127. Подчеркнуто Дурьлиным.

128. <<«...Высшая ~ Николая I у нас <>>» — Леонтьев К. Н. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения // Леонтьев. Т. 8 (1). С. 217–218. Цитируется с изменениями и сокращениями.

129. <<«О, тучная, усыренная ~ практической благонамеренностью!»>> — Леонтьев К. Н. Плоды национальных движений на Православном Востоке // Леонтьев. Т. 8 (1). С. 619. Цитируется с изменениями и сокращениями.

130. <<«Не ужасно ли и не обидно ли ~ всего этого прошлого величия?»>> — Леонтьев К. Н. Письма о Восточных делах // Леонтьев. Т. 8 (1). С. 90. Цитируется с небольшими изменениями.

131. Подчеркнуто Дурьлиным.

132. Подчеркнуто Дурьлиным.

133. «Действительно ~ «с резными ставнями окно» — Леонтьев К. Н. Русские, греки и юго-славяне // Леонтьев. Т. 7 (1). С. 477.

134. <<«Не пороки несносные ~ нашу я терпеть не могу»>> — Леонтьев К. Н. Письмо А. А. Фету. 11 июля 1889 // А. А. Фет. Материалы и исследования... Вып. 1. С. 262.

135. ...Царьград — Леонтьев считал, что взятие Царьграда и перенос столицы позволит укрепить Православную Церковь перед грядущим концом света: «даст возможность сосредоточить силу и власть иерархии, хотя бы и в форме менее единоличной, чем на Западе, а более соборной» (Леонтьев К. Н. Письмо А. А. Александрову. 24 июля 1887 // Богословский вестник. 1914. № 3. С. 454). Речь шла о концентрации церковной власти в Константинополе: «сосредоточение Православного управления в Соборно-Патриаршей форме» (Письмо А. А. Александрову. 3 мая 1890 // Богословский вестник. 1914. № 12. С. 860).

136. Подчеркнуто Дурьлиным.

137. <<«На почве новой ~ торговый „васисдас“» — Леонтьев К. Н. Записки отшельника // Леонтьев. Т. 8 (1). С. 239.

138. <<«Петербургская Россия ~ его ужасное значение!»>> — Леонтьев К. Н. Г. Катков и его враги на празднике Пушкина // Леонтьев. Т. 7 (2). С. 187–188. Цитируется с сокращениями.

139. «Характер трагического в жизни народа в высшей степени важен» — Леонтьев К. Н. Грамотность и народность // Леонтьев. Т. 7 (1). С. 110.

140. <<«... Храм св. Софии ~ испортим его навсегда...» — Леонтьев К. Н. Храм и Церковь // Леонтьев. Т. 7 (1). С. 512.

141. ...«то не будут ли [тогда] ~ изредка и не всегда удачно<» — Там же. Цитируется с сокращениями.

142. «И в России, и в Турции собою рано или поздно появятся<» — Леонтьев К. Н. Письмо А. А. Фету. 1 сентября 1889 // А. А. Фет: Материалы и исследования... Вып. 1. С. 273. Цитируется с сокращениями.

143. <<«Но как бы то ни было приближения человечества к смерти<»> — Леонтьев К. Н. Письмо А. А. Александрову. 3 мая 1890 // Богословский вестник. 1914. № 12. С. 861. Цитируется с сокращениями.

144. ...*Лев Тихомиров...* — Тихомиров Лев Александрович (1852–1923), публицист, в молодости теоретик «Народной воли», впоследствии — теоретик монархизма, редактор «Московских ведомостей», автор философско-исторических сочинений. Познакомился с философским наследием Леонтьева в 1889 г., признав «„Восток, Россию и славянство“ одним из замечательнейших произведений русского ума» (Тихомиров Л. А. Леонтьев К. Н. // Тихомиров Л. А. Тени прошлого / Сост. М. Б. Смолина. М., 2000. С. 631). Тихомирову было разрешено вернуться в столицы только в 1890 г.; он познакомился с Леонтьевым в 1891 г., в один из приездов; когда Леонтьев приезжал в Москву из Сергиева Посада, бывал у него постоянно. «В общей сложности за краткое время нашего знакомства я видел его очень часто, сидя подолгу, беседуя большею частию наедине, серьезно и сердечно. Мы сошлись очень быстро, сообщая друг другу и интимные подробности жизни, и свои духовные запросы, делясь мыслями о будущем» (Там же. С. 632). В дневнике записал в день смерти Леонтьева: «Он мне был еще очень нужен. Только на днях предложил учить меня, быть моим катехизатором. И вот, — умер <...> Меня эта смерть гнетет. Так и хочется написать ему: „Константин Николаевич, неужели вы серьезно-таки умерли!“» (Тихомиров Л. А. Дневник (С января 1889 г. по декабрь 1895 г. № 2) // Тихомиров Л. Воспоминания / Вступ. ст. С. Н. Бурина. М., 2003. С. 463–464). См.: Тихомиров Л. А. Русские идеалы и К. Н. Леонтьев // Русское Обозрение. 1894. № 10.

145. «К. Н. Леонтьев имел ~ «социалистическую окраску» — В мемуарах о Леонтьеве Тихомиров писал: «Когда он еще жил в Оптиной пустыни, я написал статью „Социальные миражи современности“ (которая потом вышла и отдельным изданием) и в ней доказывал, что коммунистическое общество должно являться очень деспотическим, но фактически не эгалитарным, а расслоенным, при очень сильном и властном верхнем правящем слое. Эта статья возбудила чрезвычайное внимание Леонтьева, но совсем не в том смысле, как можно было думать. Он из нее вывел заключение не против коммунизма, а за него, пришел почти в восторг» (Тихомиров Л. А. Леонтьев К. Н. ... М., 2000. С. 645). Однако статья Тихомирова была впервые опубликована в июльском номере «Русского обозрения» за 1891 г., «особый взгляд» же на социализм появился у Леонтьева еще на Афоне, уже в труде «Византизм и славянство» упоминается «деспотический коммунизм» (Фетисенко О. Л. Гептастилисты... С. 74). Незадолго до смерти,

20 сентября 1891 г., Леонтьев писал ему, излагая свой взгляд на социализм, что он «*есть деспотическая организация (будущего); и иначе: осуществление социализма в жизни будет выражением потребности приостановить излишнюю подвижность жизни.* <...> У меня есть *гипотеза* или, по крайней мере довольно смелое *подозрение*, у Вас — несравненно больше знакомства с подробностями дел» (Тихомиров Л. А. Леонтьев К. Н. ... С. 646). Обнаружив, что их взгляды во многом близки, Леонтьев предлагал Тихомирову соединить усилия для того, чтобы совместно разработать эту тему. Тихомиров сожалел, что проект не осуществился: «Я лично не имею надобности объяснять свое несогласие с социализмом, неизбежно ведущим к рабскому антихристианскому строю. Я говорил об этом достаточно в последние годы, в том же Русском Обозрении. К. Н. Леонтьев так и умер, не разобравшись в точных отношениях вполне правильно понимаемого им „православия“, и столь же правильно сознаваемого им органического характера социальных явлений» (Тихомиров Л. Летопись печати. Славянофилы и западники в современных отголосках // Русское Обозрение. 1892. Октябрь. С. 917).

146. «*Я того мнения, что социализм ~ иначе близится конец всему<»* — Леонтьев К. Н. Письмо К. А. Губастову. 5–7 июня 1889 г. Оптина пустынь // Русское Обозрение. 1897. Май. С. 403. Цитируется с небольшими разночтениями и сокращениями.

147. «*«Эстетика есть истина ~ но его подтверждает<»*» — Дурылин цитирует книгу: *Flaubert, Gustav. Correspondance. Paris, 1887.* Преклонение Дурылина перед Флобером контрастирует с мнением о. П. Флоренского, который оценивал эстетизм Г. Флобера как нигилизм, поклонение иллюзии, смерти и уничтожению (Флоренский П. А. Антоний романа и Антоний предания // Богословский вестник. 1907. № 1). См.: Мережковский Д. С. Флобер в своих письмах // Северный вестник. 1888. № 12.

148. «*История философии ~ и всякая мораль отрицает жизнь*» — Ницше Ф. Воля к власти... С. 269.

Источники и литература

1. Бюллетени ГАХН. 8–9 / Под ред. А. А. Сидорова. М., 1927/28. 80 с.
2. Булгаков С. Н. Победитель — побежденный (судьба К. Н. Леонтьева) // Константин Леонтьев: pro et contra. Антология: в 2 т. / Сост. А. А. Корольков и А. П. Козырев. СПб., 1995. Кн. 1. С. 376–392.
3. В. В. Розанов и К. Н. Леонтьев. Материалы неизданной книги «Литературные изгнанники». Переписка. Неопубликованные тексты. Статьи о К. Н. Леонтьеве. Комментарии / Сост. Е. В. Ивановой. СПб., 2014. 1182 с.

4. Дурылин С. Бодлэр в русском символизме / Публ. и коммент. Г. В. Нефедьева // Книгоиздательство «Мусaget». История. Мифы. Результаты. Исследования и материалы / Сост. А. Резниченко. М., 2014. С. 261–327.
5. Дурылин С. Н. Заметки о Леонтьеве и для Леонтьева // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 285. 20 Лл.
6. Дурылин С. Н. Отец Иосиф Фудель (мои памятки и думы о нем и о том, что было ему близко» // Сайт «Русская Idea». URL: <http://politconservatism.ru/upload/iblock/dbb/dbb508257bb36c8548ef16190c498bc0.pdf> (дата обращения: 21.01.2016).
7. Дурылин С. Н. Писатель-послушник // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 20. 21 Лл.
8. Дурылин С. Н. Письма Т. А. Буткевич // НИОР РГБ. Ф. 599. Карт. 4. Ед. хр. 36. 107 Лл.
9. Дурылин С. Н. Письма В. В. Разевигу // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 371. 28 Лл.
10. Дурылин С. Н. Религиозный путь К. Леонтьева // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 160. 84 Лл.
11. Зайцев Кирилл, свящ. Любовь и страх (Памяти Константина Леонтьева) // Константин Леонтьев: pro et contra. Антология: в 2 т. / Сост. А. А. Корольков и А. П. Козырев. СПб., 1995. Кн. 2. С. 202. С. 197–228.
12. Константин Леонтьев: pro et contra. Антология: в 2 т. / Сост. А. А. Корольков и А. П. Козырев. СПб., 1995. Т. 2. 704 с.
13. Леонтьев К. Н. Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой // Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем: в 12 т. / Подготовка текстов и комментарии В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. СПб., 2007. Т. 8(1). С. 297–315.
14. Леонтьев К. Н. Духовное завещание Константина Леонтьева // Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем: в 12 т. / Подготовка текстов и комментарии В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. Т. 6 (2). С. 36–38.
15. Леонтьев К. Н. Моя литературная судьба / Публ. и примеч. С. Н. Дурылина // Литературное наследство. 1935. № 22–24. С. 427–497.
16. Леонтьев К. Н. О всемирной любви // К. Н. Леонтьев. Полное собрание сочинений и писем: в 12 т. / Подготовка текстов и комментарии В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. СПб., 2014. Т. 9. С. 186–225.
17. Леонтьев К. Н. Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни // К. Н. Леонтьев. Полное собрание сочинений и писем: в 12 т. / Подготовка текстов и комментарии В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. СПб., 2003. Т. 6 (1). С. 253–351.
18. Леонтьев К. Н. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения // К. Н. Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем: в 12 т. / Подготовка текстов и комментарии В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. СПб., 2007. Т. 8 (1). С. 159–233.

19. Макаров В. Г. «...Элемент политически безусловно вредный для Советской Власти» (по материалам следственных дел в отношении С. Н. Дурылина 1922 и 1927 годов) // Сергей Дурылин и его время: Исследования. Тексты. Библиография / Сост. Анны Резниченко. М., 2010. С. 29–76.
20. «Преемство от отцов». Константин Леонтьев и Иосиф Фудель. Переписка. Статьи. Воспоминания / Сост. О. И. Фетисенко. СПб., 2012. 750 с.
21. Резвых Т. Н. «Я чувствовал себя как бы его внуком — через сына — через о. Иосифа» (Отец Сергей Дурылин — исследователь творчества К. Н. Леонтьева) // Христианство и русская литература. СПб., 2012. Сб. 7. С. 274–356.
22. Резвых Т. Н. Религия и культура в прозе и поэзии Сергея Дурылина // Христианское чтение. 2015. № 3. С. 199–225.
23. Резниченко А. И. О смыслах имён. Булгаков, Лосев, Флоренский, Франк et dii minores. М., 2012. 416 с.
24. Соловьев В. С. Памяти К. Н. Леонтьева // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Антология: в 2 т. / Сост. А. А. Корольков и А. П. Козырев. СПб., 1995. Кн. 1. С. 20–26.
25. Фудель И., свящ. Культурный идеал К. Н. Леонтьева // Константин Леонтьев: pro et contra. Антология: в 2 т. / Сост. А. А. Корольков и А. П. Козырев. СПб., 1995. Кн. 1. С. 160–180.